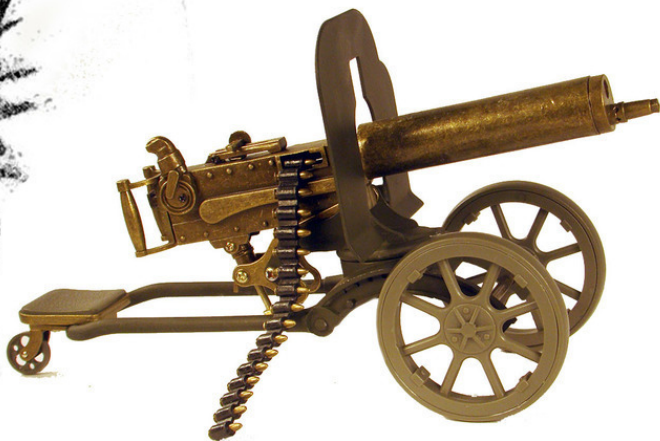




Пелевин



и



пустота

В. П. Волк-Карачевский

**Пелевин и пустота. Роковое
отречение (сборник)**

«Бутромеев В.В.»

2018

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6

Волк-Карачевский В. П.

Пелевин и пустота. Роковое отречение (сборник) / В. П. Волк-Карачевский — «Бутромеев В.В.», 2018

ISBN 978-5-905748-01-1

Роман-хроника «Большой заговор. Приговоренные императоры. Убить императрицу Екатерину II» описывает исторические события с момента царствования Екатерины II, создания первого масонского государства в Северной Америке и великой масонской революции во Франции до наших дней. В центре повествования – судьбы правителей России и тех государственных деятелей Европы, которые оказались на пути масонов к мировому господству. Все правители России от Екатерины II до Николая II пали жертвами тайных сил, шаг за шагом продвигавшихся к своей цели. Русские императоры были приговорены к смерти, как некогда французские «проклятые короли», поплатившиеся жизнью за разгром ордена тамплиеров, возродившегося во всемирном сообществе франк-масонов. Первые книги посвящены истории убийства императрицы Екатерины II и её фаворита, светлейшего князя Потёмкина, а также королю Франции Людовику XVI и королеве Марии Антуанетте, сложившим головы на эшафоте, и выходу на историческую арену Наполеона Бонапарта, положившего на полях сражений миллионы голов. Первый роман серии начинается пародией-предупреждением «Пелевин и пустота».

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-905748-01-1

© Волк-Карачевский В. П., 2018

© Бутромеев В.В., 2018

Содержание

| | |
|--|----|
| Пелевин и пустота | 7 |
| История рукописи | 8 |
| В кафе и на бульваре | 13 |
| Предуведомление | 27 |
| Пролог | 30 |
| Из расшифрованных диалогов | 30 |
| 1. Россию – уничтожить | 30 |
| 2. Убить с оглаской | 33 |
| I. В Санкт-Петербурге | 37 |
| 1. В особняке на Гороховой улице | 37 |
| 2. История нелегкой жизни Аграфены Перфильевой | 39 |
| 3. Коварный посетитель | 42 |
| 4. Я пришел убить вас | 45 |
| II. Великая императрица | 49 |
| 1. Мне бы его долги | 49 |
| 2. Непозволительная дерзость | 52 |
| 3. Кто убил? | 54 |
| 4. Жить и давать жить другим | 57 |
| III. В тверской глуши | 65 |
| 1. Встреча на большой дороге | 65 |
| 2. Что было у Оленьки | 66 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 68 |

В. П. Волк-Карачевский
Пелевин и пустота. Роковое отречение

© Волк-Карачевский В. П., текст, 2018

© ТГВБ, издание, 2018

Пелевин и пустота



Страница, заимствованная из романа-лексикона в 100 000 слов М. Павича «Хазарский словарь» (Женская версия). Как и в романе М. Павича, эта страница помещена в начале книги. Но, под ней никто не спит вечным сном. Это обычная цитата из произведения автора, любимого многими читателями

История рукописи

*Посвящается процессам,
происходящим в полном вакууме
при отсутствии перпетуум-мобиле*

Эта рукопись найдена среди бескрайних просторов монгольских степей, и ни горные хребты, ни каменные россыпи, ни сам Чингисхан не помогли схоронить ее от читателей, жаждущих правды и перемен под палящими лучами звезды «по имени Солнце». И потому-то разрозненные листы ее валялись в московских переулках, а в скверах и парках бомжи укрывались ими, засыпая на скамейках под открытым небом, до изнеможения уставая от поисков тайн и забытых истин, теребящих, согревающих душу и ласкающих слух, особенно на пустой желудок.

Имя Пелевин, несомненно, вымышлено поколением «П» неизвестно зачем и непонятно, с какой целью, возможно, злокозненной, потому что это все-таки имя, а не фамилия, как, например, фамилия Левин в тоже известном романе графа Толстого, привыкшего ходить босиком за сохой, но на зло своей жене Софье Андреевне точавшего сапоги, а зимой катавшего в черном трико на коньках по замерзшему зеркалу вод рек и озер.

Нужно и даже просто необходимо сразу заметить, что ни один из редакторов – а их было четверо, – которые старательно правили стиль и синтаксис рукописи, не имели никакого отношения к ней, так как их расстреляли из револьверов системы «наган» и маузеров в первые дни Революции, а потом добивали штыками, как только началась Перестройка. Они, эти редакторы, были молоды, они хотели любить девушек, стройноногих, тугогрудых, наивноглазых и на все поспешно согласных, а также женщин постарше: опытных в постели, но еще не утративших резвость и игривость, полных страсти, бушующей в их груди, как море-океан в сороковых широтах.

Да, они были молоды, они только начинали жить и поэтому соловьи каждую весну поют им гимн, и кларнеты, гобои и скрипки рыдают, а медные трубы стонут над поглотившими их могилами. Эти редакторы втайне сами писали стихи и романы, но судьба и рок кружили над ними, словно стая кровожадных воронов, готовых клевать их тела триста лет подряд, а если не все триста лет, то хотя бы лет тридцать, пока их кровь свежа и горяча и ею можно писать плакаты и пока запах этой парной крови дурманит, словно ветка сирени или цветущий горький миндаль, источающий тонкий аромат сотых миллиграммов синильной кислоты.

Кое-кто утверждает, что над редакторами кружила не стая воронов, охочих до мертвечины, а вились тучи насекомых, в некотором роде саранчи, всепожирающей и размножающейся торопливо, беспредельно и неумолимо, но это еще требует неопровержимых доказательств и научных исследований, подтвержденных экспериментами.

Достоверно ясно и понятно только то, что редакторов – всех четверых, скрывавшихся под именами Атос, Портос, Арамис и д'Артаньян, – именно за то и расстреляли члены сибирской ячейки ЧК. Расстреляли в валенках на босу ногу, морозным солнечным днем у полыньи на реках Енисей и Ангара, а кто был в валенках на босу ногу – гордые и обреченные, но не сломленные редакторы или чекисты с револьверами и маузерами, – это предстоит выяснить.

Об этом пока молчит история с кошачьим лицом, молчат монографии, архивы, груды папок личных дел с надписью «Х. В.», что значит не «Христос Воскрес», а «Хранить вечно», молчат канувшие в вечность протоколы допросов всевозможных шпионов и парикмахеров, на хер никому не нужные, и буква «хер» теперь так много значит и ее не похерить никому в предбаннике вечности, зияющей в высоте и под ногами, и об этом угрюмо молчат газеты и телевизор и Интернет и «телеграм» Дурова со всеми его белыми мышами и прочими дрессированными зверюшками. Если, конечно, это тот самый Дуров, который ломал дурака – царский рубль на

арене цирка, а если нет, то и это тоже в строку заговора молчания, потому что народ безмолвствует и упорно молчит, а если поет песни, то всё про утес и про заветные думы Степана Разина и Шукшина и про персидскую княжну, утопшую в Волге по собственной неосмотрительности, точнее, оттого что вовремя не научилась плавать и не сдала нормы ГТО.

И этот заговор молчания тяжелой свинцовой тучей навис над страной, придавленной к земле и прячущейся в кротовых норах, как будто в этих норах можно спрятаться от стаи воронов и туч саранчи.

Поэтому мы вынуждены еще раз категорически повторить, окончательно и бесповоротно: к публикации этой рукописи редакторы не имеют ни малейшего отношения. Они дописывали и переписывали про реку Тихий Дон и про то, как закалялась сталь, но, расстрелянные в глухой сибирской тайге, они и пальцем не пошевелили, чтобы опубликовать эту рукопись, провозгласить ее городу и миру, донести до народа, раскрыть ему, этому народу, глаза, уже почти потухшие от несбывшихся надежд и неумеренного пьянства то с горя, то с радости – редкой, но то и дело нечаянной.

Сил, неистовой страсти и тайного, подспудного отчаяния, бесшабашного, тихого безумия и сладостного помешательства, необходимых для публикации этой рукописи, хватило только у самого Пелевина. И он выдал ее из себя по капле, вбросил в этот мир, как шарик в рулетку, и исчез, растворился, растаял, затерялся, но не в просторах забайкальских степей, песчинкой в вихре вместе с Чингисханом, потомком лани и волка, и не в московских кривоколенных переулках или среди бетонных многоэтажек западноевропейских городов в толпах беженцев от высоких истин, ползущих медленной лавой скрытого, едва сдерживаемого гнева по автобанам, соединяющим эти города в единый организм, и не в кишасей бездне приморских плодородных равнин Китая.

На самом деле он не исчез в заветной лире, а стал предметом культа – бронзовой ступкой с бронзовым же пестиком, а если под рукой нет бронзы, то каменной ступкой с каменным же пестиком, и в этой ступке, а то и в ступе, можно, невзирая на то, что такое пестик, а что такое тычинка, тереть все, что угодно, и сколько угодно, и где угодно, как Маяковский в желтой кофте тёр Лилю Брик.

Он тёр ее на кровати, на диванах, на кушетках, на столах, на опрокинутых комодах, буфетах и шкафах, в которых прятался муж Лили, Осип Брик, записывавший все подробности в бумажку. Он, Маяковский, тёр ее так, что вся эта мебель превращалась под ними в труху и не подлежала ремонту, и краснодеревщики только качали головами, разводили руками и говорили: «Нет, придется покупать новую мебель». А Маяковский не успокаивался и тёр Лилю Брик везде: на углу Невского проспекта и Садового кольца, у постаментов Медного всадника и во всех городах только что учрежденного Союза Советских Социалистических Республик, во всех дворах и подворотнях, на парадных лестницах и с черного входа, и даже в толпе делегатов Съезда Советов в Таврическом дворце, где сам светлейший князь Потемкин хотел тереть Екатерину II, но из этого ничего не получилось и светлейший князь мучился и страдал от черной меланхолии.

А у Маяковского, взбодренного порцией кокаина, которую ему по свойски одолжил Пелевин, все получалось, он тёр Лилю Брик не только везде, но и всегда, ежесекундно, каждую минуту, ежедневно, без усталости и просыпу, без остановки, на ходу, с каждым шагом проникая все глубже и глубже в ее растерзанное, влекущее и зовущее тело, ненасытное, как весенние овраги, как плоть толстовской дьяволицы Степаниды или плоть Аксиньи, жаркая, словно летняя степь в цвету по берегам реки Дон, и, проникая друг в друга, они пожирали друг друга глазами кретинов, сверкающими вспышками синих в темноте молний.

Случалось, что они уставали и им приходилось передохнуть на какое-то краткое мгновение, и Маяковский, вспоминая поэта Брюсова, прикрывал бледные ноги Лили Брик своей желтой кофтой.

И тогда Пелевин бегал за Шагалом и Малевичем, и те, раз уж им представлялась такая возможность, разукрашивали кофту Маяковского красными пентаграммами и с неистовым хохотом поднимали ее над страной от Бреста до Владивостока, и тогда жители необъятной страны, простиравшейся от южных гор до северных морей, по-хозяйски выстраивались в неторопливую очередь к Мавзолею, и Ленин, лежа в стеклянном гробу, корчил рожи всем, кто нескончаемым потоком проходил мимо, а рядом с ним в костюме Буратино стоял писатель Алексей Толстой и показывал всем нос растопыренными пальцами обеих рук.

А когда поднимался ветер и желтая кофта трепетала и реяла над стогами городов и над весями под музыку Дунаевского из кинофильма «Дети капитана Гранта», то с этой кофты дождем осыпались маленькие красные пентаграммы, начертанные шкодливой рукой Шагала или Малевича и крошечные черные квадратики: они ливнем падали на поля и луга, барабанили по спинам мужиков и баб, серпами жавших колосившуюся рожь и косами косивших буйные сочные травы, и бабы тут же поднимали подол и ложились прямо на жесткую стерню, и мужики тёрли и пластали их под грохот отдаленных летних гроз, и на следующий день бабы замечали, что задницы у них исколоты острой стерней, а молодые девки не хотели ничего замечать и только посматривали в небеса, чтобы не пропустить момент, когда там запылится желтая кофта Маяковского.

А в городах на фабриках и заводах, как только в облаках мелькнет эта кофта, пролетарии включали заводские гудки, по которым сверяли время и свою судьбу, и под шум станков и грохот и лязг блюмингов к ним спешили фабричные девчонки в красных косынках, они задирали скромные ситцевые платица, изгибали легкий стан и призывно двигали бедрами, пока пролетарии тёрли их до окончания смены.

Вой заводских гудков оглашал всю страну, доносился до европейских городов и даже был слышен за океаном. И тамошние пролетарии, хорошо зная, что происходит в Советской России, бросали к чертовой матери работу и шли бороться за свои права и повышение оплаты труда в долларах и фунтах.

А впереди их на боевом коне в обнимку с Че Геварой ехал Пелевин, они матерились на все лады, громогласно проклинали Маргарет Тетчер и высоко над головой поднимали плакат с надписью «Пролетарии всех стран, присоединяйтесь», а прилепившийся к ним Захарий Прилепин пел песню «Нич яка месячна, видно, хоть голки збирай». И Дмитрий Быков, как настоящий реестровый казак, вприпрыжку бежал рядом, держась за стремя, и направо и налево рассказывал, что он не совсем еврей и совсем не толстый, и тут же на ходу читал лекцию и убедительно доказывал, что никто не тёр Лилию Брик так неистово, как Маяковский, ну, может быть, только Юрий Дудь хотел бы так Тину Канделаки, но она была «холодна, как статуя в Летнем саду» и не соглашалась меньше чем на Керимова на Лазурном берегу или, на худой конец, на Усманова, и Юрий Дудь отчаянно тарачил глаза и, тоже на худой конец, уже готов был согласиться на Ксению Собчак – живую, резиновую, надутую или сдувшуюся – и в жарких мечтах стирал ее в порошок, который потом можно бы было рекламировать, бешено рекомендуя это снадобье от кашля, от простуды и гриппа, от любых недугов, микробов и вирусов, а также от чумы и заворота кишок.

Так мог бы тереть ну разве что ещё Сердюков Васильеву, – не министра просвещения, а ту, упорхнувшую из тюремной камеры сладкоголосой птицей страстной любви и надежды.

Но больше никто. И никого. И никогда. И нигде.

По многим причинам необходимо сделать некоторые разъяснения и по поводу собственно пустоты. Как стало впоследствии известно, пустоту изгнал из природы философ Аристотель, бюст которого Пелевин хранил у себя в самых потаенных местах, пока не догадался, что бюст этот пустотелый и именно в нем до поры до времени удавалось скрывать пустоту всем тем негодьям, которые не жалели для этого ни сил, ни денег.

В том, что пустота была возвращена в природу, велика заслуга Эванджелиста Торричелли, потому что ослепший уже тогда Галилео Галилей небезосновательно прочил его на свое место в мировой науке.

Хитроумный Торричелли вместо оловянной взял стеклянную трубку метровой длины, запаял с одного конца, наполнил ртутью, придержал пальцем с незапаянного конца и отпустил ее в чашку со ртутью запаянным концом вверх. Когда он отнял палец, уровень ртути в трубке немного понизился до отметки 760 миллиметров ртутного столба, хотя в миллиметрах тогда еще ничего не измеряли, и в верхней части трубки неожиданно для всех образовалась пустота объемом не больше наперстка.

И в этот момент бьют Аристотеля, утверждавшего, что природа боится пустоты, грохнулся с книжной полки, трахнулся о каменный пол и разбился вдребезги, а самые мелкие дребезги уже было невозможно расколотить еще мельче и Демокрит, который задолго до Аристотеля, лет за сто, дробил все, что попадалось под руку, назвал атомами. И мало того, упорно утверждал, что в мире ничего не существует, кроме атомов и пустоты, даже Пелевина не существует, – это, мол, просто сон из сказки «Тысяча и одной ночи», мол, все нормальные люди по ночам спят и только те, кто успел раздобыть хоть немного кокаина, колобродят в пустоте вместе с атомами.

Но Демокриту не поверили даже туповатые жители его родного города Абдеры. Аристотель же поселился в Афинах, но бежал из них, чтобы афиняне не успели казнить его, как Сократа, остался жив и благодаря этой предусмотрительности ему верили почти две тысячи лет подряд, будто природа боится пустоты, и никакой Пелевин не убедит ее – природу – стать хоть чуточку смелее.

И вот Торричелли развеял по воздуху, который раньше считали невесомым, этот древнегреческий миф с помощью простого наглядного опыта. Ведь опыту чужда логика, он иногда противоречит логике, причем всегда в свою пользу. С тех пор пустоту и называют торричеллевой пустотой, а о человеке, у которого пусто в карманах, не стесняясь и забывая правила приличия, говорят: «Пустой, как Торричелли». И природа уже не боится пустоты, она не боится ровным счетом ничего, даже Пелевина.

Мало того. От фамилии Торричелли образовался самостоятельный глагол «торчать». И все, кто торчат на чем-нибудь: на кокаине, на морфии, на грибном рагу и даже на самом заурядном алкоголе (не путать со звездой Алголь в созвездии Персея, известной переменчивостью своего света), – на некоторое время попадают в пустоту, а она – пустота – существует в трех видах.

Во-первых, в верхней части запаянной стеклянной трубки ртутного барометра.

Во-вторых, в небольшом пространстве в круге диаметром около трехсот метров на берегу реки Урал, границу этого круга денно и нощно бдительно охраняет Анка-пулеметчица, и только 8 марта, в Международный женский день ее подменяет Чапаев, а 23 февраля в день Советской армии на сторожевой пост заступает сам Пелевин.

В-третьих, эта пустота беспредельного космического пространства, границы этого пространства никто не охраняет, ни по старинке с немецкими овчарками, которых как огня боятся все шпионы и диверсанты, ни на новый лад – с помощью видеокамер. Но, невзирая на отсутствие охраны, границы эти пока еще никто не пытался нарушать.

Завершая это небольшое пояснительное вступление, важно обратить внимание вдумчивого читателя на то обстоятельство, что на первых, безвозвратно утерянных страницах рукописи две фамилии в тексте – Путин и Абрамович – были старательно замазаны красными чернилами, но впоследствии их удалось восстановить даже там, где никто не предполагал их найти, так как Путин и Абрамович у людей на виду и их еще долго будут помнить и не забудут, даже если очень сильно захочется.

А также напомнить и авторам и читателям настоятельный совет поэта Квинта Горация Флакка отбрасывать, то есть ни в коем случае не писать и не читать никакие предисловия, и начинать не с начала, а с середины. Потому что хороший казак, имеющий силу в плече в случае необходимости располвонивает острой шашкой своего визави до середины, то есть до самого пупка. Именно так делал и Семен Буденный, хотя и происходил не из «станишников», а из иногородних, то есть был крестьянского роду-племени, почему всегда и обходил на скачках казаков и брал все призы, а во время Первой империалистической имел полный Георгиевский бант – все четыре Георгиевских креста – и женился на оперной певице, держал дома под кроватью пулемет «Максим» и ездил на лошади самого Кутузова.

Уточнение по поводу совета Горация, то есть до какой страницы можно не читать, а с какой читать, будет дано попозже.

В кафе и на бульваре

– Они идут за мной по следу, как псы, учуявшие запах крови, – сказал Пелевин.

Он слегка повернулся ко мне всем туловищем и снял черные очки. Теперь я мог хорошо разглядеть его лицо и в том числе простой, по-видимому, славянского происхождения нос, чтобы об этом ни говорил Дмитрий Быков, при всей своей полноте прямо таки истекающий завистью, когда кто-нибудь заводит при нем речь о пустоте, причем даже не из желания подразнить, а из любопытства, свойственного многим и многим.

– Не смотрите так на мой нос, – криво и как-то печально усмехнулся Пелевин и грустно добавил: – у меня никогда не хватит мужества и неподдельной смелости обойтись с ним поголе夫斯基.

– А почему они преследуют именно вас? – я недоуменно пожал плечами.

– О, они далеко не дураки! – вдруг громко воскликнул Пелевин. Он оживился и зашептал, недвусмысленно сверкая глазами, косясь и оглядываясь по сторонам и так понижая голос, что было невозможно ничего разобрать: – Они прекрасно осведомлены, им доподлинно известно, что моя сущность находится во мне, то есть внутри меня, во всех этих печенках, селезенках, желчном пузыре и прочей требухе, заканчивающейся простатой, не путай ее с прямой кишкой, потому что простатит и геморрой – это разные вещи, и заметь, простата – это уже почти пустота, она, как и прямая кишка, – своего рода связующее звено между этим подлым и мерзким миром и возвышенно звенящей в глубинах космоса пустотой. Они якобы хотят выведать у меня конструкцию глиняного пулемета, чтобы Путин не на словах, а на деле и не в шутку, а всерьез начал отстреливаться от Трампа, Терезы Мей и Меркель, а заодно и от Никиты Михалкова, надоевшего ему как горькая редька со всем своим семейством, а именно Андроном Кончаловским и тремя поросенками из одноименной сказки, так блестяще пересказанной в переводе с английского. Но чертежи глиняного пулемета – это только хитроумный предлог, на самом деле им нужен ключ от пустоты.

– Но зачем им нужна пустота? Какого рожна они в нее лезут, как червяки в консервную банку перед рыбалкой?

– Во-первых, у них уже столько денег, что им трудно поместиться в этом мире и они надеются чартерным рейсом перебраться в пустоту и болтаться в ней, как дерьмо в проруби, безо всяких хлопот об оленеводах, избирателях и пенсионерах. Есть и еще одна причина...

– Какая?

– Видишь ли, приятель... – Пелевин откинулся на спинку легкого пластикового стула и чуть не перевернулся, мелькнув в воздухе ногами, но вовремя взял себя в руки, удержался и всего лишь слегка покачнулся: — ...это уже метафизика.

– То есть что-то отвлеченное, умозрительное или просто некие измышления о духовных первоначалах бытия, о предметах, недоступных чувственному опыту, – охотно подхватил я, припоминая какую-то лекцию, которую слушал во сне или какой-то нелепый, совершенно дурацкий спор в студенческой общаге после бутылки дешевого портвейна.

– Да, – лениво согласился Пелевин, – вообще-то метафизика – это метод мышления, противоположный диалектике. Руководствуясь этим методом, явления нужно рассматривать не в их развитии, взаимосвязях и противоречиях, а в состоянии покоя, разрозненно, то есть строго по очереди и никогда попарно. Но от метафизики невозможно, да и просто нельзя отрывать диалектику, политую слезами Гераклита. С одной стороны, понятно, как дважды два, как божий день, что никому не дано дважды войти в одну и ту же воду, не только в реку, но и даже в озеро, даже в затхлое смердящее метаном болото. И тем не менее люди лезут в ту же воду дважды и трижды и палками гонят в эту воду других, и эти другие послушно плетутся к воде, как одуревшие и ослепшие от зноя стада антилоп к водопою, прямо в крокодилы пасти.

Пелевин допил еще не остывший кофе и решительно закончил, словно отрубая хвост любимой собаке:

– Они хотят заполучить ключ от пустоты. В горячечном бреде им кажется, что я прячу его от них за железной дверью, занавешенной холстом, на котором нарисован очаг с котелком вкуснейшей похлебки. Идиоты. Если ключ за запертой дверью, то его уже никому и никогда не достать, будь ты трижды Лев Толстой и семи прядей во лбу, как Достоевский. Я сам ищу этот ключ вот уже много лет подряд. Когда-то он был у Чапаева, но он по пьяни обронил его неизвестно где, и я сойду с ума, свихнусь, рехнусь, если не найду его.

– Зачем он вам? – Я всегда старался называть Пелевина на «вы», тогда как он обращался ко мне только на «ты», что неудивительно, так как с виду он старше меня лет на тридцать (мне недавно исполнилось всего-то двадцать с небольшим), а если учесть его бездомно-безумные странствия во времени и пространстве, знакомства с Чапаевым, Екатериной II, Людовиком XVI и еще кое с кем, он был старше меня на значительно большее количество лет.

– Ключ от пустоты – это не хрен собачий. Мы пришли в этот мир из пустоты. И уйдем из этого мира в пустоту. Поэтому нас туда и тянет. Тянет даже Елену Ваенгу, после того как она узнала интересный момент и стоит и курит, а вокруг нее пустота, взятая за основу. Что уж тогда говорить о Путине и всех, кто суетится под ним и вокруг него. Они готовы всё отдать ради пустоты, и конечно же даже Путина, но чуть попозже. А пока что они живут только одной пламенной страстью – догнать меня и отнять ключ от пустоты, которая представляется этим недоумкам райским блаженством, а на самом деле всякому, кто оказывается в ней, непросто из нее выкарабкаться.

Мы с Пелевиным сидели в «Шоколаднице». Обстановка располагала к философской беседе. Официантки – бурятки, монголки, китайки – нескончаемой чередой несли к нашему столу чашки крепчайшего кофе, и Пелевин выпивал их залпом одну за другой.

– В твои годы я перетрахал бы всех этих монголоков, потому что жизнь – это не что иное, как сон, а когда спишь на ходу и рядом с тобой такая вот монголка и у нее ноги всегда врозь и ритм скачки ей привычен... – задумчиво сказал Пелевин, – хотя я предпочел бы начать вон с той китайки...

Я оглянулся и увидел китайку, она стояла, опершись локтями о прилавок, привлекательно изогнувшись, – длинноногая, стройная, она казалась полубогиней, попавшей в эту замызанную московскую «Шоколадницу» из роскошного американского подпольного борделя или из парижских заведений типа кафе «Мулен Руж».

– Китайка, – поправил я Пелевина, от созерцания китайки забыв все на свете и даже разницу в возрасте между мной и Пелевиным. – Китайка – это сначала шелковая, плотная ткань, а потом ткань хлопчатобумажная синего цвета, из нее бабы шили сарафаны и мужские рубахи. А если ткань красного цвета, то это уже кумач. Когда-то все это добро купцы доставляли из Китая, а потом в России производили столько этой китайки, что ее приходилось возить в Китай и продавать там по дешевке.

– Знаю, – лениво отмахнулся Пелевин, – «Ветер морду полощет в лужах о синеющий неба сатин», да и кумачом мы сыты по горло. И китайцев этих знаю, пулеметные роты, только деньги плати. Это сейчас они понастроили небоскребов, как в Америке. Пустота поглотит и небоскребы, и китайцев – и миллиард и десять миллиардов. В пустоте всем места хватит, в нее только Дмитрий Быков никак не помещается, но это дело времени.

В «Шоколаднице» мы давно уже были не одни. В ближайшем углу за роялем сидели Чапаев и Путин. Чапаев в обе руки играл попеременно Второй концерт Рахманинова и Первый концерт Чайковского. Играл сильно, бурно, страстно, так, что даже его каракулевая папаха упала с головы на пол, но он, весь отдаваясь музыке, не обращал на это внимания.

А Путин с краешку одним пальчиком наигрывал мелодию «Деспозито», а слова этой песни не напевал, потому что в ней парень обещал своей девушке расписать ее пещерку, кото-

рую она прячет между ног, причем так ловко и искусно, что пещерка вроде бы и спрятана, но все время кажется, что ее вот-вот можно увидеть, и поэтому взгляд не оторвать и думать ни о чем, кроме этой пещерки, не получается, да и не хочется, да никто ни о чем другом и не думает, да никого ни о чем другом думать и не заставишь. А Путин, как человек скромный, вежливый и при исполнении, довольствовался только мелодией, а слова пел какой-то пуэрториканец и даже не по-русски.

В другом дальнем углу «Шоколадницы» собралась пестрая и разношерстная литературная компания. В глаза прежде всего бросался Дмитрий Быков, фигурой напоминающий Бальзака. В этот раз он обрил наголо голову и она блестела, как бильярдный шар, посланный в лузу. Слева, лицом в стол, лежал Венедикт Ерофеев – он был пьян и спал, но время от времени начинал кукарекать сквозь сон, так как ему снилось, что он едет в электричке по маршруту «Москва – Петушки». По правую руку от Быкова сидел другой Ерофеев. Рядом с ним стояла девица в расстегнутом черном длиннополном пальто, надетом на голое тело, и Ерофеев одной рукой трепал ее обильно заросший диким волосом лобок, а другой рукой что-то записывал на бумажной салфетке и назидательно, но непонятно кому, рассказывал о своих папе и маме, видных дипломатах ужасных сталинских времен. Вся эта троица (без учета девицы с растрепанным лобком) напоминала картину великого русского живописца Васнецова «Три богатыря».

Писателей-литераторов за столом собралось десятка два. Дмитрий Быков, отвечая на чьи-то упреки в том, что он обрил голову и она стала похожа на бильярдный шар, упорно пытался доказывать, что если бы бильярдные шары были волосатыми, это мешало бы игре, присовокупляя к этому объяснения, что он писатель совершенно русский, а не еврейский, и что, невзирая на свою полноту, он вполне может поместиться в пустоте, если это потребуется для блага народа и особенно его читающей части, а также для торжества демократии.

Под столом валялись пустые бутылки, в чашках для кофе была водка, шум за столом усиливался, и все достали револьверы и маузеры и не целясь, без всякой задней мысли начали палить друг в дружку без разбора и передышки. От пороховой гари воздух сгустился, и из него «соткался» коренастый крепыш, обритый наголо, как на этот раз Дмитрий Быков. В руках крепыш держал по револьверу.

– Руки, ноги на стол, я – Котовский! – слегка заикаясь, закричал он голосом, которому мог позавидовать сам Шалапин.

Это действительно был Котовский по имени Григорий. Одесские дамы, увидев его, падали в «чувственные обмороки», и, придя в себя, испытывали продолжительный оргазм, и требовали повторения, а их юным дочерям романтический разбойник снился по ночам. Но писатели-литераторы, собравшиеся в кафе «Шоколадница», не относились к числу слабонервных. На Котовского они не обратили никакого внимания.

Тогда он стал ходить вокруг их стола, приставлять к головам, разгоряченным спорами, восторгами и гневными тирадами, револьверы и нажимать на спусковой крючок. То и дело случались осечки, но когда раздавались выстрелы, мозги брызгали во все стороны и Григорий Котовский то демонически хохотал, то на мгновение впадал в печальную задумчивость о бренности всего земного, и с нежностью вспоминал свои бурные приключения с женщинами, которые всегда пылали к нему безудержными чувствами, и поэтому он живо представлял себя скачущим на мустанге по американским прериям и пампасам.

Пелевин краем уха прислушивался к звукам рояля и посматривал в тот угол кафе, где бесчинствовали писатели-литераторы и до крайности распоясался Григорий Котовский.

– Все это, возможно, подстроено с целью самой банальной провокации. Не хватает только какого-нибудь Навального, Юрия Дудя, Канделаки, Познера с Собчак и Проханова с Веллером для компании. Пойдем-ка лучше на свежий воздух.

Мы вышли из «Шоколадницы» и оказались на Патриарших прудах, хотя пруд там был всего один, зато удивительной квадратообразной формы.

– Историческое место, – кивнул в сторону пруда Пелевин, – как только все его ни называли. Сначала – Козье болото. Здесь разводили коз, а их шерсть поставляли к царскому двору. В болоте, видимо, водились черти, потому что речку, вытекавшую из болота, называли Черто-рий: считалось, что ее прорыли черти, существа в общем-то довольно безобидные, хотя иной раз они и любят пошутить. Потом болото осушили и на его месте вырыли три пруда, чтобы разводить в них рыбу для патриаршего стола. Так и появилось название Патриаршие пруды. Чертям, разумеется, пришлось отсюда убраться, и они теперь обитают чёрти где. И с тех пор на Патриарших кто только не жил, можно даже сказать, обитал чёрти кто: Маяковский, тот самый, который неустанно тёр Лилю Брик, Цветаева, Александр Блок, потом Гришин, член ЦК, и Семичастный из КГБ, и даже Чаломей и Янгель, ракетотехники: именно их двигатели вынесли потом человечество в космическое пространство, где пустоты неизмеримо больше, чем непустоты, а еще больше непонятно и неведомо чего. В начале двадцатых пруды называли Пионерскими.

– Почему?

– Полагали, что пионеры – это такие бесенята, то есть своего рода чертенята новой эпохи, а патриарх тогда как раз вышел из моды до поры до времени. Но попозже, как это обычно и случается, вернули старое название, потому что все новое – это хорошо забытое старое.

– Но сквер вокруг прудов – или, точнее, вокруг пруда – называется Булгаковским, – сказал я.

– Разумеется. Как же его еще называть. Вон та липовая аллея, в которой из стусившегося знойного воздуха соткался неприятный тип престранного вида в клетчатом пиджачке, в жокейском картузике – этот длинный гражданин висел, не касаясь земли, покачиваясь то вправо, то влево, и сквозь него было видно, то есть он казался прозрачным, наподобие стекла. А вон и скамейка, на которой лицом к пруду и спиной к Бронной сидели поэт Иван Бездомный и композитор Берлиоз. Тут даже если не захочешь, все равно назовешь сквер Булгаковским.

– Да, – согласился я, – только Берлиоз не композитор, а редактор толстого журнала и председатель московских литературных ассоциаций. Так, по крайней мере, сказано в первой главе романа.

– Верно, – кивнул головой Пелевин, – но как потом установили, по ночам он сочинял музыку – фамилия обязывала.

«Вполне возможно, – подумал я, – хотя в романе об этом нет ни слова».

– А в двух шагах от этой скамейки, – продолжил Пелевин, – на соседней скамейке и присел тот самый незнакомец, иностранец с виду, лет сорока, слегка прихрамывавший на одну из своих ног, брюнет в дорогом сером костюме и сером же берете.

Я припомнил описание Воланда из первой главы романа Булгакова. Пелевин вроде бы ничего не переврал.

– Помнится, – усмехнулся Пелевин, – я по наивности долгое время считал этого Воланда своим дальним родственником, чуть ли не троюродным дядюшкой. Но он повел себя самым подлым образом. Стал требовать подтверждения родства, заказал генетическую экспертизу, одним словом, – немец, колбасник и филистер.

– Немцы никогда не отличались ни шириной души, ни шириной взглядов, – поддакнул я Пелевину.

– А вон там, – Пелевин показал рукой, – на повороте с Ермолаевского на Бронную выехал трамвай и отрезанная голова Берлиоза прыгала по булыжникам мостовой. Голову ему комсомолка-вагоновожатая отрезала своим трамваем именно потому, что Аннушка вовремя и в нужном месте разлила обычное подсолнечное масло, чтобы он поскользнулся. Все было подстроено – Аннушка – Анка-пулеметчица никогда никого не подводила.

– Аннушка – это Анка-пулеметчица? – удивился я.

– Да. Она работала на несколько разведок сразу, с Воландом сотрудничала по мелочи. Подрабатывала, как обычно женщины, на помаду и всякий макияж. Для женщины ведь очень важна не только внутренняя жизнь, но и внешность, то есть как она выглядит.

Мы присели на скамейку, где совсем недавно – меньше ста лет тому назад – сидел Берлиоз, лишившийся в тот день головы и уже больше не писавший критических статей и не сочинявший по ночам музыку.

Настроение по случаю сгущающихся сумерек у Пелевина было приподнятое, и, пользуясь этим, я спросил:

– Скажите, а тот, другой Пелевин, который издает для читающей публики в год по роману, он ваш родственник или просто однофамилец?

– Ни то, ни другое. Фамилии имеют разное происхождение. У него – от Левина из романа «Анна Каренина». Но он увлекается разными научными штучками и поэтому прибавил к своей фамилии частицу «пи», ту самую, которая три целых четырнадцать сотых. Получилось Пилевин, через дефис. Потом издатели в погоне за прибылью утерjali дефис, а «и» заменили на «е», они ведь недалеко друг от друга в алфавите. Вот и получилось Пелевин. А у меня еще проще, но совершенно по-другому. В детстве я, как и Абрамович – тот, который в Лондоне: яхты, дворцы, «Челси», чукчи и т. д., – увлекался дворовым футболом. Гонял мяч я лучше других мальчишек, ну меня и прозвали Пеле – помните, наверное, он из Бразилии – Эдсон Арантис ду Насименту, 1940-го года рождения. Коротко Пеле вроде как-то не по-русски, вот и получилось Пелевин. Так что сами видите, фамилии по сути и смыслу разные, хотя внешне и по количеству букв совпадают. Родственниками мы официально, по документам не являемся, несмотря на то что когда-то были одним целым и только потом раздвоились.

– Как это раздвоились?

– Очень просто. Обыкновенная шизофрения. Слово греческое, оно и означает раздвоение. Когда он, так сказать, отслоился от меня, я еще некоторое время присматривал за ним. Устроил на работу в одно издательство. Там издавали собрание сочинений мистического индейца Кастанеды. Он начитался, увлекся, начал сам писать, и пишет до сих пор, дурачит читающую публику, а главное, самого себя, ведь чтобы читающая публика прочла все, что он написал, ему самому приходится все это написать. И это будет продолжаться, пока из Пелевина он не превратится в букву «П», как граф Толстой в «Т». Такая уж у них обоих планида...

– Вы встречаетесь? Общаетесь?

– Последнее время очень редко. Раньше чаще. Он даже написал роман «Чапаев и Пустота». В этом романе кое-что взято из действительных событий, например глиняный пулемет, но все остальное фантазии в духе Кастанеды и разного рода издержки постмодернизма. И много напутано. И про реку Урал, и что важнее всего, про пустоту.

– Скажите... – я слегка замялся, не надеясь на его откровенность, – там в «Шоколаднице» вы нарочито громко сказали, что у вас нет ключа от пустоты, что ключ этот утерян. Это вы нарочно? Ключ все-таки у вас?

– А ты догадлив. В кафе конечно же прослушка, вот я и сказал. Но они, – Пелевин подчеркнул слово «они», – все равно не верят мне, так сильно им хочется завладеть этим ключом и попасть в пустоту... Попадут... Но попозже...

– А на самом деле ключ у вас?

– У меня. И они чувствуют это печенками и никогда не отстанут от нас. Там, на берегу Урала, мы – я, Чапаев и Анка-пулеметчица – отбиваемся от них вот уже который год подряд. У нас броневик, в нем мы и живем. Нас давно уже окружили, прижали к обрыву над рекой. Но у нас – глиняный пулемет и мы не даем им даже голову поднять. Что они только ни делали: пускали танки тэтридцатьчетверки и трофейные «Тигры», сандалили «Катюшами», даже атомную бомбу бросали – это потом списали на семипалатинское испытание, – ничем не могут нас взять. Глиняный пулемет все равно сильнее.

– Это тот глиняный пулемет, который описан в романе «Чапаев и Пустота»?

– В романе выдумка про мизинец одного из Будд, этих Будд множество, их всех не перечсть и всем им поставили памятники. Считается, что пулемет изобрел американец Максим, его недолюбливали в Америке, он уехал в Англию, где сконструировал мышеловку и королева присвоила ему за это титул «сэра», а Ротшильд дал денег на создание пулемета. На самом деле пулемет «Максим» сконструировал Будда из любви к человечеству, но не успел собрать даже опытный образец, остались только чертежи на пальмовых листьях. Их через подставных бродячих факиров и купил у индийских йогов Ротшильд все из той же любви к тому же человечеству. Но часть пальмовых листов с описанием сжевала домашняя овечка Ротшильда, и никто не знал, из какого материала нужно изготавливать это устройство. Поэтому бесхитростные европейцы сделали пулемет из железа и стали, а пули из свинца. И получилось довольно сносное приспособление для общения человека с братьями по разуму. На самом же деле Будда придумал пулемет совсем с другой целью: чтобы не общаться с людьми, а хоть как-то укрыться от них. Но изготавливать пулемет нужно из глины, точнее, все его детали и пули должны быть фарфоровыми. Такой пулемет и собрал в одном китайском горном монастыре монах-любитель. Чапаев, оказавшись в этом монастыре по прихоти судьбы и на краткое время, этот пулемет реквизирует в связи с нехваткой в дивизии огнестрельного оружия.

– А монах?

– Монах и пикнуть не успел, к тому же он не знал русского языка и никогда не читал ни Пушкина, ни Гоголя, ни Толстого с Достоевским.

– Но пулемет настоящий, действующий? Не игрушечный?

– Очень даже действующий. Сначала его использовали как обычный, потому что фарфоровая пуля, попадая в организм человека, воздействует на него ничуть не хуже свинцовой, а иногда даже прошивает насквозь нескольких вояк, невзирая на чины и звания, в отличие от свинцовой, которая на вылет бьет значительно реже. А потом выяснилось, что если пулеметной очередью провести по земле линию, то никто не может ее переступить. Это и спасло нас, когда Чапаев, нажравшись самогона до зеленых чертиков, объявил себя Лениным и Карлом Марксом в одном лице и перестал подчиняться командующему фронтом. Красные и белые зажали нас на берегу Урала, и тогда Анка-пулеметчица очертила очередями из глиняного, то есть фарфорового пулемета круг, границу которого вот уже почти сто лет не удается перейти ни пехоте, ни кавалерии, ни танкам, и атомный взрыв в этот круг не проникает. Внутри его пустота, настоящая пустота, абсолютная. По физическим параметрам такая же, как в открытом космосе, только лучше. В открытом космосе на единицу объема то и дело еще встречаются всего-то несколько элементарных частиц, порою странных и малоизученных, а у нас – ни одной, пусто, хоть шаром покати. Но главное не это. В открытом космосе пустота обладает только физическими свойствами, а у нас настоящее царство духа. Весь броневик до отказа забит Кантом, Гегелем, Шопенгауrom, Ницше, Шпенглером, Платоном, Аристотелем, современных вроде Кьеркегора тоже полно и все это с примесью Кастанеды.

– Их сочинениями?

– Да нет. Их духовной сущностью. И вот сидим мы с Чапаевым годами в нашем броневике, жарим спирт, как поэт Есенин, и дышим всей этой философией, иной раз хоть противогаз надевай. А Анка, вся в печали, дежурит в бронебашне с глиняным пулеметом, на всякий случай, мол, попробуй кто сунься, никто и не суется, поэтому ей по женской части не позавидуешь, но тут уж делать нечего – у бабы своя доля и не у каждой бывает бабье лето. Вот так втроем, всяк при своем деле и мыкаем век. В абсолютной пустоте век идет за день, то есть за сутки.

– А этот... Ну, ваш двойник, который в год по роману пишет... Вас не посещает?

– Его уже фактически нельзя назвать двойником... – задумался Пелевин, – ...он давно самостоятельная сущность. Раньше иногда появлялся... Пока писал роман «Чапаев и Пустота». Даже соорудил рядом с нашим броневиком водокачку, ну, то есть водонапорную башню.

– Водонапорную башню? Зачем?

– Ну, во-первых, он человек наблюдательный и как-то совершенно верно заметил, что человек – это всего лишь столб воды высотой около двух метров, нечто вроде водонапорной башни. А во-вторых, у нас рядом река Урал, качай воду сколько хочешь, хоть до посинения, она ведь течет с севера на юг, осетров в ней было полно. Урал ведь граничит западным берегом с Европой, а восточным с Азией, так что к нему подходи с любой стороны, все едино...

Пелевин надолго задумался, погружившись в свои мысли, как в воды реки Урал. Я не осмеливался прервать его задумчивость, но он сам преодолел ее и продолжил рассказ:

– Но последнее время к нам никто не заглядывает, даже Котовский. Котовский человек вроде неплохой, но подозрительный, даже так и не выяснилось, кто его отправил на тот свет, а главное, как личность он неглубокий, вырос на Майн Риде и склонен к бандитской дешевой романтике. Другое дело Чапаев. Он в юношеские лета с колокольни упал. Другой костей бы не собрал, разбился бы вдребезги, а Чапаев – целехонек. Он поэтому и в революцию подался. Согласись, расшибись он тогда вдребезги, разве стал бы он народным героем?

– Согласен, – кивнул я.

– Многие воспринимают Чапаева поверхностно: мол, дай ему папаху, бурку, развевающуюся на ветру, лихого коня, шашку – и он всех порубит в капусту. Но это только видимая сторона дела. Чапаев не просто фантом, слепленный из народных анекдотов, что само по себе тоже не фунт изюма: вот, например, Фрунзе – командующий фронтом, или Блюхер, или Тухачевский – сколько людей угробили, а ни одного анекдота. Чапаев часто и много думал. Вот сидим мы с ним, жарим спирт, нет спирта – жарим самогон. А когда вокруг абсолютная пустота и воздух напичкан рассуждениями Канта да Гегеля, хочешь не хочешь становится понятен смысл бытия, то есть совершенно проясняются вопросы и о мировом разуме, и о мировой душе. Тут уж Василий Иванович метет все подряд – и о границах между прошлым и будущим, и о преддверии вечности, и об алхимическом браке Запада и Востока, и о смерти и бессмертии, и о царстве теней и свободы, и о музыке революции, не чета Александру Блоку, у того сопли в сахаре, а Чапаев – орган, ревуший фуги Баха, и о внутреннем конфликте индивида, и о закате Европы, и о призраках, которые по ней бродят в обнимку с Карлом Марксом, и о том, что мироздание имеет устройство луковицы или скороспелого малосольного огурца, или, по крайней мере, отражается в них полностью и бесповоротно. Одним словом, любому Шпенглеру сто очков вперед даст. А слова какие заворачивает! Например, «трансцендентальная логика»! Но и я все это время не лаптем щи хлебал в компании с ним. По крайней мере, одолев всю эту философию, я теперь ясно понял, в чем смысл жизни и каково предназначение человека в этом земном существовании.

– В чем же заключается смысл жизни? Я вот тоже иногда задумывался, интересовался, но нигде так и не нашел точного ответа на этот, казалось бы, конкретный вопрос.

– Да, философы, даже известные глубиной мышления, часто формулируют свои умозаключения и дефиниции неопределенно, расплывчато, путано и туманно, словно в душещипательном романсе, и как-то зыбко и ненадежно. Не так у нас с Чапаевым, хотя он иногда и играет на гитаре. Уж если ты соображаешь хотя бы самую малость, говори четко, громко, коротко и внятно, как спартанский воин.

– И в чем же заключается смысл жизни? – повторил я свой вопрос.

– Жить нужно так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. В жизни нужно успеть сделать три дела: переплыть реку Урал хотя бы в одну сторону, а лучше туда и обратно, трахнуть Анку-пулеметчицу, и послать к чертям собачьим Чингисхана со всеми его плосколицыми и кривоногими монголами, а также послать подальше всех Петров Первых вместе с Наполеонами вплоть до Путина.

Пелевин рассказал, что реку Урал он уже переплыл туда-сюда, даже несколько раз, потому что вынуждали обстоятельства, связанные с проблемами взаимоотношений Европы и

Азии. И Чингисхана с его конными монголами, и Петра I, бритобородого и в немецком платье, а так же Наполеона с Путиным к чертям собачьим посылал неоднократно. А вот с Анкой-пулеметчицей вышла загвоздка.

– Неужели она оказалась такой неподатливой? – Я как будто усомнился.

– Анка? – переспросил Пелевин, – да она проходу мне не дает, особенно теперь, когда мы втроем в одном броневике, тесно, не разминуться. Она такая по этой части шустрая, со всей дивизией переспала, знает толк в этом деле. Но я не хочу обижать Чапаева.

– При чем здесь Чапаев?

– Анка-пулеметчица – его жена.

– Жена? Но, кажется, в романе «Чапаев и Пустота» она его племянница. А в романе Фурманова...

– Ну, в романах можно все, что угодно, написать. Бумага стерпит. А в действительности – жена. И при том венчанная. Чапаев обвенчался с ней в той самой колокольне, с которой наверху в нетрезвом виде, почему и не пострадал, даже не ушибся, но помнил об этом всю свою бесшабашную жизнь.

– Венчаются в церкви, а не в колокольне.

– Когда девка, да к тому же поповская дочка, торопится в бабы и между ног у нее пожар полыхает, как мировая революция, ее легко уговорить венчаться не только в колокольне, но и в пожарной каланче, тем более что на пожарной каланче тоже есть колокол, как на колокольне, правда, звонят в него не к обедне, а когда, не дай Бог, случится пожар. И уж если он звонит, то не только по тебе, но и по всему человечеству, хоть уши затыкай.

«А ведь он и сам, как автор “Чапаева и Пустоты”, не чужд постмодернизму», – подумал я, пытаюсь вникнуть в слова Пелевина.

– И что же, Чапаев взял жену с собой в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, то есть в РККА?

– Ну как ее дома одну оставить, когда у нее пожар между ног с годами только разгорается. Вот он и определил ее при себе в пулеметчицы соответственно темпераменту. Разумеется никому не разглашая, что она его жена. Если бы узнали об этом, каждый боец за дело трудового народа захотел бы иметь при себе в ночное время супружницу, и как ему, освобожденному от гнета проклятого царизма и одуревшего от вкуса свободы, в этом отказать? Ну и что бы это была за дивизия? Понятно, завелись бы дети, бабе ведь не прикажешь: ты глазом не успеешь моргнуть, а она уже родить норовит. А пойдут дети, их кормить надо, а это доп паёк, а зимой и одевать: валенки, шапки-ушанки, да еще санки нужны кататься с горок.

Вот моя деревня,
Вот мой дом родной.
Вот качусь я в санках
По горе крутой.

А какая тут родная деревня, если ты сегодня под Богумлой, завтра под Белебеем, а послезавтра в каком-нибудь Лбищенске? Поэтому Чапаеву и пришлось скрывать, что Анка-пулеметчица его жена.

– И об этом никто так и не узнал?

– Знал только Сталин, но он никому не рассказал, потому что был членом реввоенсовета не Восточного, а Южного фронта и вспомнил все это, когда уже снимали фильм. И тогда Анка, рехнувшись от такой таинственности, пустилась во все тяжкие: не пропускала ни пешего, ни конного – переспала со всей дивизией, даже с обозными, годными только к нестроевой, но до баб охочих не меньше, чем кавалеристы. Бойцам сначала в охотку, а потом бегали от нее – уж больно она беспощадна была, выматывала мужиков до изнеможения. А сама – настоящий

перпетуум мобиле. «Это, – говорит, – храбрым воинам в виде воспитательного мероприятия. Я хоть и поповская дочка, а любой Колонтай нос утереть могу».

– А Чапаев?

– Страдал, конечно, – вздохнул Пелевин, – сам-то он супружеские обязанности не исполнял. Днем шашку наголо и в атаку, ночью – едва Шпенгелера и Шопенгаура читать успевал, иной раз даже на буддийские тексты и медитацию времени не оставалось. И вот однажды штаб дивизии расположился в каком-то разграбленном имении. В одной из комнат Чапаев обнаружил рояль – его не смогли утащить, он очень тяжелый. И от тоски и печали Чапаев наловчился играть на нем разные фуги, симфонии и сюиты. Со временем он достиг в этом полного совершенства. Святослав Рихтер услышал – рыдал, а Мацуев тоже прослезился, и сразу предложил ему место в основном составе «Спартака». Чапаев отказался, ведь мы в Москву являемся редко, и то только потому, что у нас в броневике места маловато, рояль в нем просто не помещается, вот и приходится мотаться сюда-туда, когда Чапаеву совсем невмоготу. Ничем другим, как игрою на рояле, ему грусть не разогнать, это уж нам с Анкой-пулеметчицей точно известно.

– Скажите, но ведь если границу, которая прочерчена очередями фарфорового пулемета, никто не может преодолеть, как же у вас получается сюда-туда? – поинтересовался я.

– В этом-то вся штука, – важно поднял вверх палец Пелевин, – у меня ведь ключ от пустоты. Его «они» и хотят как-нибудь, любым способом выцарапать. Иногда меня подмывает отдать им этот ключ и посмотреть на них, как они наложат в штаны, когда повернут его в замочной скважине и окажутся на том вокзале, с которого всем предстоит отправиться по назначению, а билет каждому забронирован и никто никогда не опаздывает на свой поезд, даже те, кто известны своей рассеянностью и всегда не успевают вовремя. – И Пелевин мрачно продекламировал:

О вокзал! Это пристань Харона —
Не бывает возврата назад!

– Это раньше, когда только появились железнодорожные дороги, – продолжил Пелевин, – на вокзалах играли духовые оркестры и наливали шампанское. На пристани скуповатого, несговорчивого Харона – седого, мрачного старика в безобразном грязном рубище, с горящими огнем глазами и всклокоченной бородой, как его описывали Вергилий и Данте – не так весело. Поэтому в прежние времена многие русские умудрялись переправляться через Стикс и Ахеронт не в утлом челноке Харона, а ниже по течению, где река замерзает, кто на коньках, кто на лыжах, а кто и на тройках под звон поддужного колокольчика и песню ямщика. Но это те, кто налегке. А этим, из окружения президента, представляется, что они «отстегнут», «откатят» и их повезут на «мерседесах» по мосту сразу на Острова Блаженных, вроде как на Канары или на Мальдивы, а следом – имущество багажными вагонами. Ключ от пустоты им ночами снится. Поэтому и следят за мной везде и всюду. Хочешь убедиться? Пожалуйста: кукушка, кукушка, сколько лет мне осталось жить? – неожиданно громко крикнул Пелевин.

Из верхушек лип с механическим скрежетом раздалось: «Ку-ку, ку-ку, ку-ку» – и продолжалось не умолкая.

– Что это? – спросил я.

– Прессекретарь Путина Песков. Когда я в Москве, он не отстает от меня ни на шаг, присмотрись: вон он среди ветвей маскируется. И так искусно, что заметить совершенно невозможно. Но жена подарила ему часы – ходики с кукушкой. Он всегда таскает их с собой, это его и выдает: кукушка отзывается, если спросить ее о том, сколько лет осталось жить. Эти механические кукушки существа бесхитростные и никаких инструкций не соблюдают, им лишь бы повод покуковать.

Послышался шум ломающихся веток – это Песков, поняв, что рассекречен, покидал свой пост наблюдения.

– А пока он передислоцируется, мы улетим в свою пустоту. Чапаев, наверное, уже отвел душу. Нужно возвращаться восвояси. Ведь Анку-пулеметчицу я пока что не трахнул, то есть свое предназначение в этой жизни исполнил не до конца, как бы двусмысленно ни звучали эти слова. Если хочешь, давай с нами, посмотришь, как оно там – на краю Европы барахтаться в пустоте. Может, роман сварганишь про Чапаева и эту самую пустоту на берегу реки Урал с броневиком в центре.

– Да... Вот... – замялся я, – дело в том, что роман я уже написал, и даже несколько. Об этом, собственно, и речь... Я хотел, чтобы вы, так сказать, одобрили... Чтобы читающая публика, помня фамилию Пелевин, обратила бы внимание. Я ведь перед нашей встречей прочёл несколько книг вашего, так сказать, двойника, тех, которыми он снабжает читающую публику раз в год и пока еще не ежемесячно. И хотелось бы получить за это хоть какое-то вознаграждение...

– То есть чтобы использовать фамилию Пелевин в качестве паровоза для своего романа?

– Причем не одного, а нескольких. Это серия романов.

– А о чем они?

– О том, как масоны убивали в России императоров. Дворцовые перевороты, интриги, убийства, подземные казематы, заговоры, дуэли. Одним словом, романы плаща и кинжала.

– А кого из императоров убивают в твоих романах?

– Всех.

– Как всех? Убили, если мне не изменяет память Павла I ударом в висок золотой табакеркой. Я всегда полагал, что в табакерках лучше хранить табак, а не бить ими императоров. Александра II взорвали, это я помню, бомбой. Бомбой любого разнесет в клочья. Ну, разумеется, Николая II расстреляли, как ни крути – революция. Но ведь кое-кто из русских монархов умер естественной смертью, так сказать, сам.

– Это одно из самых опаснейших заблуждений, насаждаемых так называемой исторической наукой. В том-то и фокус, что все как один русские императоры и императрицы были убиты. Нужно только правильно осмыслить факты. Начиная с Петра I все правители России умирали при таинственных обстоятельствах. А там где тайна – там тут как тут масоны. И заговоры. Это был великий заговор – ухандокать всех наших императоров, начиная с XVIII века и заканчивая XX веком.

– И тебе это достоверно известно?

– Еще бы! Стал бы я писать столько романов, будь это только какие-нибудь домыслы или всего лишь прозорливые догадки.

– Почему же об этом все молчат? И по телевизору – ни слова.

– А потому что по-прежнему везде масоны. Я когда вник поглубже в это дело – волосы на голове дыбом встали. И тут же сел писать эти романы. Ночами не спал. Иной раз пообедать забывал – не мог оторваться от рукописи. И вот получилось почти как у Дюма вместе с Пикулем. Когда перечитывал – проглотил на одном дыхании. Коварные масоны. Убийство одно за другим. Интриги и заговоры.

– Масоны, убийства, заговоры – это я одобряю. Но нужно добавить кокаина, и обязательно галлюциногенных грибов у духе Кастанеды. Во всей этой мистике северо- и южноамериканских индейцев есть, знаешь ли, какой-то смысл, так и не давшийся Канту и Гегелю.

– Видите ли, действие происходит в XVIII веке, тогда вместо кокаина занимались любовью – или, как теперь говорят, сексом, – то есть трахались без галлюцинаций, в живую, до изнеможения сил, а отдохнув, продолжали трахаться – ни радио, ни телевидения ведь еще не было и ничто не отвлекало.

– Любовь – это хорошо, но кокаина советую добавить. Или морфия. Как это у Булгакова. А вот и наша голубушка...

Слова Пелевина относились к совершенно голой красавице: она прилетела верхом на половой щетке и, сделав полукруг, приземлилась недалеко от скамейки, на которой мы сидели.

– Это Маргарита, – пояснил Пелевин, – она теперь частным извозом подрабатывает. От Москвы до Урала – за десять минут на правый берег. А на левый, за реку – вдвое дороже берет: там уже Азия, поэтому другой тариф.

В это время в конце липовой аллеи из сумерек «соткались» Чапаев в папахе и в бурке и Путин в черной пилотке и куртке ВВС. Они шли торопливо, стараясь оторваться от догонявшего их писателя и народного трибуна Веллера.

– Возьмите меня, – просился Веллер, – я, если потребуется, могу пионервожатым, я стада скота гонял в Монголии, из меня энергия прет фонтаном, вспомните братьев Стругацких и братьев Вайнеров, ведь даже Сталин в трудную минуту вспомнил, что все люди братья и сестры...

Но на Веллера никто не обращал внимания как на лицо вымышленное и почти засекреченное, напрямую связанное с космическим пространством и энергией, тайна которой еще пока не поддается разгадке, но многие ученые и философы уже подбираются к ней окольными путями, и им кажется, что еще немного – и все станет ясно и понятно.

Чапаев и Путин уселись на половую щетку позади Маргариты – обнаженная, она поражала всех красотой, от нее было невозможно оторвать взгляд.

– Вот, например, вопрос о том, спасет ли красота мир... – задумчиво начал Пелевин. – ведь в сущности строение женского тела хорошо изучено и его подробнейшая топография известна в самых сокровенных деталях, иной раз парадоксальных своими отличиями от тела мужского. Тем более что есть множество пояснительных рисунков и даже схем, я не говорю уже об изображениях гениальных живописцев. И мысленно возвращаясь к Анке-пулеметчице, которая в эту минуту преданно ожидает нас там, в пустоте...

Но я не удержался и перебил его:

– Так Путин тоже с вами?

– Путин? Ах, да. Путин... – Пелевин сделал жест рукой, словно отгоняя от себя возникший перед его глазами образ Анки-пулеметчицы в длинном черном вечернем платье. – Путин конечно же с нами. У него окружение плохое, а сам он хороший.

– Но как же страна без Путина? – не унимался я.

– Он ненадолго. На какие-нибудь семнадцать мгновений по весне и вернется вместе со стерхами и Абрамовичем. Абрамович ведь к нам тоже навещается. Англия, Лондон – западная окраина Европы, а у нас берег реки Урал – окраина восточная, должна же быть между ними какая-то неразрывная связь хотя бы в виде Абрамовича. Но, впрочем, нам пора выписываться из этой психбольницы: лечение уже совсем не помогает, нужен какой-то дурдом с новым распорядком дня или главврач построже, поэтому исчезаю и появлюсь только при случае.

Пелевин сел на половую щетку рядом с Путиным, Маргарита Николаевна поправила свои роскошные волосы, как и положено ведьме, – она была жгучей брюнеткой и слегка косила на один глаз, – щетка с пассажирами тронулась и с места стала набирать высоту.

В это мгновение Веллер, обманувшийся в самых радужных надеждах растолковать всем жаждущим истины теорию энергоэволюционизма, рожденную им в долгих муках без акушерок и санитаров, осторожно достал из кармана пиджака простой граненый стакан с недопитым кофе и в праведном гневе швырнул его вслед улетающим, но промахнулся – стакан пролетел рядом с Пелевиным.

– Чернильницей надо было, как Фауст в черта, – весело крикнул Пелевин, не унывающий ни при каких промахах.

Маргарита тем временем заметила просвет между деревьями и, задев ветви лип, вывела свое необыкновенное такси на небесный простор, а буквально через несколько секунд они

уже мчались среди созвездий, под ковшем Большой Медведицы, оставляя слева Волопаса с оранжево-красным Арктуром, похожим на злоевоющий глаз дьявола.

Всмотревшись в сияющее синими бриллиантами семь звезд Большой Медведицы, Веллер машинально, как на уроке астрономии в школе № 3 города Могилева, перечислил их все до одной: Дубхе, Мерак, Фекда, Мегрец, Алиот, Мицар (а для тех, у кого хорошее зрение, еще и Алькор) и Бенетнаш, что в переводе значит «предводитель плакальщиц» – и вдруг успокоился, словно только что не пытался метким броском ссадить с набирающей высоту половой щетки Пелевина или кого-нибудь из его спутников, включая Маргариту. Он сдернул с головы кепку и начал прощально махать ею во вселенскую пустоту беспредельного космоса.

– Не взяли на этот раз, возьмут как-нибудь потом, – громко сказал Веллер и, проклиная в душе кочевые элиты, растворился в воздухе липовой аллеи на Патриарших прудах в сквере имени Булгакова.

С последним взмахом кепки Веллера, обращенным во вселенскую пустоту, искрящуюся миллиардами звезд, а тем более после того как он, вопреки законам теории энергоэволюционизма, полностью и без остатка растворился в воздухе легендарной липовой аллеи, из которого иной раз может соткаться чёрти что, если не в меру потребить кокаина и морфия, предисловие этой книги следует считать законченным.

Именно его – это предисловие, а не отнюдь не Веллера – по настоятельному совету Горация и следует отбросить, чтобы начать с середины, то есть со следующей страницы, заполненной описаниями событий, происходивших в XVIII веке с героями, сердца которых пылали жаждой приключений, любопытством, любовью, желаниями исполнить свой долг, отстоять свою честь, доказать правду, стремлением к славе и подвигам, праведным гневом, а также завистью и коварством, одним словом, страстями – ведь мир без них кажется пресным и даже скучным.

Правда, перелистнув эту страницу, читатель найдет еще одно предисловие, но его не нужно пропускать, так как совет Горация уже исполнен.

*Жану де Лабрюйеру,
прославившемуся знанием разнообразия человеческих характеров
и нравов, а также пониманием тонкостей незыблемых законов
книготорговли, посвящает эту и все последующие книги автор,
преисполненный благодарности и надежд, пусть себе даже и не всегда
оправданных, но тем не менее согревающих душу.*



Теория заговора имеет такое же право на существование, как и все теории, изо всех сил ее опровергающие, но, несмотря на свой всеобщий против нее заговор, так ничего и не сумевшие опровергнуть.

Теория заговора объясняет ход истории человеческой с той же достоверностью, с которой небесная механика известного англичанина Ньютона объясняет движение планет вокруг Солнца. Можно сколько угодно отрицать Ньютона и находить неточности в его формулах, но планеты не прекратят движение по своим орбитам, невзирая на опровержение причин, заставляющих их совершать сие движение, совершенно не обращая внимания ни на самые точные расчеты этих орбит, ни на самые новейшие изыскания всех астрономов со всеми их телескопами.

Из частного письма.

Какой роман моя жизнь!

Слова, приписываемые Наполеону Бонапарту, которые вполне могли бы сказать и императрица Екатерина II Алексеевна, и светлейший князь Потемкин, и поэт Гавриил Державин, и поэты Шиллер и Гёте, а также знаменитые проходимцы: граф Мирабо, Талейран, наивный Лафайет, дочь банкира Неккера мадам де Сталь, сам господин Неккер, так удачно погревший руки на развале королевской Франции, господа парламентские ораторы, не дававшие спуска друг другу Питт и Фокс, князь Репнин, граф Румянцев вместе с сыновьями, стар и млад семейства Разумовских, граф, князь и канцлер Безбородко, в конце концов достигший всего, но не того, чего больше всего хотелось, император Павел I и его сын Александр, художник Гойя, вездесущий Бомарше, король Людовик XVI, его супруга Мария Антуанетта и, конечно же, Катенька Нелимова, милая автору непосредственностью и бесхитростной живостью желаний восторженного сердца. Как, впрочем, и многие другие

персонажи, оставившие свои имена на потрепанных временем страницах истории, беспристрастно изложенной в настоящем сочинении.'

Предуведомление

Предисловие, в котором автор неторопливо размышляет об Истории и о своих задачах, из этих размышлений вытекающих

В конце известного пылкостью чувств и склонностью к просвещению и так любимого мною XVIII века в России и в странах, от неё значительно удалённых, произошли события, вызвавшие последствия, которые ни много ни мало изменили мир: карта Европы украсилась названиями новых государств, вместо бабмаков с серебряными пряжками мужчины стали носить совсем другую обувь, женщины забросили шляпки, напоминающие чепчики, и надели на свои прелестные головки нечто совсем не похожее на то, чем они раньше надеялись привлечь нескромные взоры. Ну а никогда не дремлющие историки торопливо вписали в свои книги множество новых имён; часть же имён, раньше не сходивших с кончиков их остро отточенных перьев, остались только в книгах, написанных до всех этих событий, а если и упоминались теперь, то все реже и реже.

А уж как перепутались жизненные пути простых людей, чьи имена не внесены ни в какие книги, кроме метрических, людей, никому не известных, но дорогих родным и близким, включая иногда и добрых соседей. Многие романтические девушки не дождалась своих возлюбленных и вышли замуж совсем не за тех, о ком мечтали на заре туманной и полной неясных надежд юности; некогда состоятельные господа обеднели, иные и вовсе разорились, а один подававший надежды стихотворец спился и умер в изъеденной мышами неизвестности, не удостоившись бронзовых бюстов на шумных площадях столицы и мраморных изваяний в тихих залах библиотек. Так порой случается раз в три-четыре столетия, а то и чаще. Мир меняется.

И если ты, мой не лишённый любопытства читатель, запасёшься терпением и усердием и, одолевая страницу за страницей настоящего сочинения, проследишь ход этих событий в их стремительном развитии, то увидишь чудесную картину, – её по примеру одного легкомысленного француза, ко всему ещё наделённого поистине африканским темпераментом, я хочу повесить на надёжный гвоздь Истории.

Что есть история? Некоторые считают, и весьма упорно, что это взаимосвязь причин и следствий, вытекающих из строгих и незыблемых законов. И не только считают, но и излагают своё мнение, часто очень пространно, с многими подробностями, и весьма успешно – в том смысле, что находятся издатели, которые печатают их труды (именно труды, но никак не сочинения), и благодаря тому, что труды эти многотомны, а тома внушают уважение весом и толщиной, ими, этими томами, удобно заполнять полки библиотек.

И уже другие, следующие в порядке очереди историки, напрочь лишённые французского легкомыслия и, тем более, африканского темперамента, снимают покрытые пылью фолианты с полок, изо всех сил ворошат страницы, анализируют факты, сопоставляют цифры и делают совершенно новые выводы и неопровержимые, а иной раз даже парадоксальные заключения. И все это движется подобно священной реке, суровым торжественным потоком, застывая в незыблемых гранитных берегах триумфальных арок, парадных порталов и заново отштукатуренных фасадов.

Что касается меня, то я, мой снисходительный и благожелательный читатель, скромно держусь в сторонке от этого неумолимого в своей величавой вечности потока.

Волей-неволей мне пришлось прочесть так много томов исторических трудов, что изложенные в них факты я по большей части уже забыл, а цифры, по свойственной мне беспечности, безнадежно перепутал. Волей, потому что читал я их, в общем-то, по своей

охоте, подталкиваемый природным любопытством, приобретённым по ходу продвижения от счастливого и беззаботного младенчества к наивному детству, а от детства к непоседливой юности и зрелым летам, достигнув коих, я обнаружил несметные и всевозрастающие запасы этого самого любопытства, требовавшего ответов на множество вопросов, – ответы на многие из них мне удалось найти сначала с помощью милых и беззаботных девушек, а потом догадливых и, что очень важно, предусмотрительных женщин. Но часть вопросов оставались без ответов, и ответы на них я доверчиво понадеялся отыскать в толстых книгах, по скупости, свойственной издателям, обычно не снабжённых картинками, хотя иногда в них попадались гравюры и гравированные же портреты.

Ну а невольно, потому что перелистывать сотни и тысячи страниц приходилось себя заставлять: уж больно было скучно. И тем не менее, благодаря усердию (к которому призываю и тебя, мой, неустанно ищущий высоких истин, читатель), перелистав множество исторических трудов, я обнаружил, что факты и цифры и даже глубокомысленные выводы совсем не есть История, а только всего лишь одежды Истории, часто строгие, сверкающие и блестящие и даже расшитые золотыми галунами, как ливреи важных лакеев, иногда подызоносившиеся и лоснящиеся в некоторых местах от долгого употребления, а иной раз это и просто лохмотья, ветхие и сверкающие не золотом и серебром, а зияющими дырами, порой гордо выставляемыми на всеобщее обозрение по примеру Антисфена, одного из не очень известных учеников прославленного древнегреческого философа Сократа, наставника знаменитого Диогена. А вот под этими одеждами и скрыто главное, суть и сущность Истории. Что же это? Интрига, интрига и ещё раз интрига, догадливый мой читатель.

Слово интрига, как и всякое достойное уважения слово, происходит из древнегреческого языка и в точном переводе значит пружина, точнее – опасная пружина и ещё точнее – опасно сжимаемая пружина.

Сжимают её люди, которым избыток желаний и все того же любопытства вкупе с обычной непоседливостью и ещё кое-какими качествами и чертами характера не дают вести размеренно-обыденную жизнь в привычных делах и заботах и потому-то они и сжимают и закручивают её, эту пружину, до тех пор, пока она не разожмётся и не подбросит вверх тормашками всех, кто сжимал её, вместе с теми, кто мирно вращался в кругу спокойной жизни и ни во что не совал своего носа.

Вот тогда-то и меняется мир, со всеми его странами, башимаками и шляпками. А люди, нарядившись в новые одежды, опять начинают сжимать все ту же пружину, движимые все теми же желаниями, прихотями и чудачествами, которые сплетаются в цепочки, тянущиеся из прошлого в будущее, завязываются мелкими узелками, а время от времени затягиваются в сложнейший узел, и его потом приходится развязывать, распутывать, а то и рубить мечом, как это сделал однажды нетерпеливый царь македонян Александр, благо меч у него всегда был под рукой, а решимости ему было не занимать.

Читателя, жаждущего скрупулёзного разбора фактов и глубокомысленных выводов, я отсылаю к библиотечным полкам, заполненным трудами самых кропотливых историков, среди них преобладают немцы – безусловно, именно им, а не кому-либо ещё нужно отдать пальму первенства, когда дело доходит до точности и глубокомыслия, по поводу, к примеру, непонятных, далёких звёзд на ночном небе и нравственного закона – а к чтению моего сочинения я приглашаю только любителей интриги.

Интриги, интриги и ещё раз интриги, плаща и кинжала, любви и ипаги.

Ибо, как и ещё один француз – он хотя и не обладал африканским темпераментом, но тем не менее не стеснялся присущей его соплеменникам легкости и простоты вкусов – я тоже променял бы любые серьёзнейшие исторические труды на разного рода подробности, особенно интимные и потому не вошедшие в официальные отчёты, реляции и манифесты.

Я держусь мнения, что именно они, эти интимные и тайные, а вследствие своей тайности малоизвестные подробности и есть основа интриги всех событий. А интрига и есть История, что я и докажу тебе со следующей страницы, мой доверчивый, а главное, ленивый читатель: когда-то ты поленился прочесть какого-нибудь Карамзина с Соловьёвым в придачу или Лависса и Рамбо, ну так не поленись полистать книгу, которую волею случая ты уже держишь в руках.

Пролог

Из расшифрованных диалогов

1. Россию – уничтожить

Jam proximus ardet Ucalegon.
Vergilius.

Уже пылает сосед Укалегон.
Вергилий.

Никто никогда не узнает где: в Амстердаме, Венеции, Лондоне, Париже, Берлине, Мадриде, Женеве, Риме или время от времени в любом из этих городов, или в каком-нибудь маленьком городке с кривыми улочками и готическими крышами, крытыми черепицей, или в угрюмом старинном замке, или в простом, привольном, сельском поместье, в роскошно обставленных покоях, или в скромной уютной комнатке велись эти разговоры.

Разговаривали, скорее всего, двое, как и догадывался старший из братьев Соколовичей. Иногда, возможно, присутствовал и кто-то третий, один из тех, кого называли Могущим, к которому стекались сведения и деньги от Понимающих и Связующих, а уже они, Связующие и Понимающие встречались с мастерами лож, носивших самые загадочные названия, члены которых сходились только по ночам, при свете факелов и никогда не говорили ясно и понятно, а туманно и витиевато вещали таинственными фразами, голоса их звучали глухо и грозно, переходя в шёпот, кажущийся оглушительно громким в мрачной тишине под сводами скрытых от людских глаз подземелий.

Понимающий обычно рассказывал о событиях, свершавшихся по воле и замыслам этих двоих – то, что все происходившее в этом подлунном мире замышлялось именно этими двумя уже немолодыми людьми, Понимающий не знал, так как предполагалось, что его рассказ предназначается для тех, кто выше, и все, что он сообщал, незамедлительно передадут туда, на самый верх – а оттуда, свыше, ниспошлют новое указание, которое и нужно будет исполнить, хотя бы ценою жизни – своей и членов лож и в случае необходимости ценою жизни всех живущих на земле, и это новое указание определит и ход дальнейшей истории, и путь нашей усталой планеты между звёздами, так заманчиво и загадочно мерцающими на ночном небосводе.

Но выше, как и догадывался старший Соколович, никого не было.

Все, о чем говорили эти двое, не записывалось ни в какие протоколы и никогда не всплывало ни в дневниках, ни в письмах, ни в мемуарах даже столетней давности. Восстанавливать эти разговоры приходится только по событиям, которые стали их отражением – отражением иногда точным, иногда зеркальным или искажённым, иногда фантастическим, нелепым, ужасным, а иногда и прямо противоположным.

Но я по крупицам восстанавливаю их – и для всеобщей полноты моего сочинения, над которым мне приходится трудиться день и ночь не покладая рук, и из вечного желания сочинителя угодить тебе, мой любопытный читатель, ведь твои пристрастия я уже знаю, как свои собственные, и именно поэтому я и привожу в самом начале одну из этих бесед, чтобы иметь возможность продолжить.

– Россия должна быть уничтожена. Это совершенно очевидно.

– Но Франция...

– Франция уже готова и нельзя упускать стечение обстоятельств. Во Франции все созрело и пойдёт само собой. А Россия может спутать наши карты, она представляет для нас все большую опасность. Все, что в России удалось сделать за последние двести лет, пока что дало обратный результат. Поменяли правящую династию – но не смогли взять ее в свои руки. А приключения Лефорта с Петром I вместо рычага, которым хотели перевернуть Европу, привели к появлению империи, подчинить которую мы сами теперь не можем. Ещё хуже получилось с Екатериной II.

– Да, такое и в голову не могло прийти. Маленькая немецкая потаскушка, начитавшись Плутарха, превратилась в великую императрицу.

– И Европа до границ с Францией может провалиться в её бездонную пропасть...

– ?

– Да, в эту самую пропасть, о которой ты подумал.

– Полагаешь, Европа поместится в этой ее... пропасти?

– Поместится. Ещё и для Индии останется место.

– Для Индии?

– А ты вспомни подготовку Астраханской экспедиции в Персию.

– Ну, это было давно. Сейчас она нацелилась на Константинополь, а в Индию её англичане не пустят.

– Англия далеко. А у неё Индия – почти рядом.

– Ну, не совсем и рядом. Но англичане, выдворив без нашей помощи из Индии Францию, Екатерину туда не допустят.

– В Индию она, возможно, и не доберётся, а вот в Европу влезет и растопчет все наши замыслы, как неуклюжая кухарка – детские домики, выстроенные из кубиков.

– Ты преувеличиваешь.

– Да, преувеличиваю, но меня пугает опасность, исходящая из России. Успех в Америке, возможность повторить его во Франции – это слишком важно, чтобы лишиться всего из-за фантазий Екатерины и Потёмкина. Их нужно снимать с шахматной доски – как бы это ни нарушило баланс сил. О России нельзя забывать ни на минуту. Россия должна быть уничтожена!

– Когда?

– Чем быстрее, тем лучше! Это ведь не так просто. Особенно сегодня, когда она сильнее любого из европейских государств. Россия должна быть уничтожена! Это государство должно исчезнуть с карты Европы!

– Что для этого нужно сделать?

– Не знаю.

– Ну всё-таки, что мы должны предпринять в первую очередь?

– Не знаю. Не могу ничего придумать.

– Мы можем втянуть Екатерину в две войны – на севере и на юге. Нам не составит труда подтолкнуть Турцию к войне, а шведский король сам воспользуется стечением удобных обстоятельств...

– Это хорошо. Но Россия слишком велика. Швеция не в состоянии поглотить даже ее север, а Турция – хотя бы юг.

– Если ввести в войну Польшу...

– Польша... Когда-то казалось, что Польша поглотит Россию... А теперь Россия может проглотить разваливающуюся Польшу... За ней последует вся Германия. Пруссия без старого дурака Фридриха – ничто. То же самое и Австрия. Никто не в силах уничтожить Россию.

– Даже мы?

– Мы можем. Но сейчас для нас важнее Франция. А Россия может поглотить всех. И Францию в том числе.

– Ну, это невероятно.

– Невероятно. Но в случае с Россией – возможно, это-то и пугает. Россия неуязвима, как медведь, пожирающий мед вместе с жалящими его пчёлами.

– Остаётся революция изнутри.

– Не получится. Переворот – может быть. Смута, Пугачёв – да. Революция – нет. Сила единовластия подавляет. Нужно сто лет, чтобы ослабить, разрушить эту силу. У России очень велик запас естественной прочности.

– Точнее сказать дикости?

– Можно назвать это и дикостью. Но такая дикость даёт естественную защиту от разложения.

– Но и ограниченность. И самоизоляция.

– Это не грозит России. У неё мощный внутренний источник развития. Она легко усваивает все новое. И медленно разлагается. Слишком медленно! В конце концов, разлагаются любые государства. Весь вопрос во времени. Россия разлагается слишком, слишком медленно! Поэтому её и нужно уничтожить! Но я не вижу внешних сил, которые могли бы это сделать!

– Значит нужно делать ставку на внутренние силы.

– А какие у нас внутренние силы в России? По сути дела только один Соколович и обычные масонские ложи. Мы мало уделяли внимания России. Даже масонство очень слабо. Масонские ложи и газеты – вот единственный путь распада. Или, как принято говорить, развития.

– Количество лож все-таки растёт. А Соколович скоро получит перстень Понимающего.

– В России нужно иметь нескольких Понимающих, которые контролировали бы друг друга. Единовластие и дикость обеспечивают России запас прочности лет на двести. Нужно разделение властей, газеты, гласность, народное представительство, независимый суд, конституция и главное – пробудить понятие о естественных правах человека. Нужны русские Руссо и Вольтеры. Борьба за свободу и за права человека – начало всякого движения к разложению. Только так мы можем разрушать её изнутри. Все наши действия извне будут разбиваться об неё как о поросший мхом огромный валун. Если мы допустим развитие сильной России, это поставит под удар все, что мы достигли, и все, чего можем добиться в ближайшее время. Россия должна быть уничтожена! Волей исторических судеб она оказалась на нашем пути. Власть над миром будет принадлежать или нам – через новую Америку, через всемирную Англию, через республиканскую Францию – или России. Поэтому Россия должна быть уничтожена! А Екатерину и ее фаворита нужно снять с шахматной доски.

– Но ещё остаётся шанс взять их в руки с помощью отречения Анны...

– Это то самое отречение дочери Петра I, о котором ты рассказывал?

– Да. Дочь Петра отказывается в нем от прав наследования престола за себя и за своё потомство, то есть за Петра III, от которого происходят и Павел, и любимые Екатериной II внуки.

– Получается, вся власть в России незаконна?

– Ну, Екатерина вообще не имеет никаких прав на престол, и правит только как мать наследника – своего сына Павла. Но, исходя из отречения Анны, и у него нет законных прав на русский трон. И если умело воспользоваться этим отречением, можно всех их сделать послушными – или заменить. Желающие занять их место и поучаствовать в этом деле найдутся.

– Ещё бы! Соколович знает об отречении Анны?

– Нет.

– Нужно довести до него эти сведения, но осторожно, так, чтобы он думал, что это его находка. Где само отречение так и не установили?

– У кого оно сейчас – неизвестно. Отречение исчезло и пока не удаётся найти его.

– А если подделать?

– Можно... Но вдруг кто-то пустит в ход настоящее? Лучше бы всё-таки найти. Следы-то остались. Оно было у русской партии, которая, объединившись с Паниным, пыталась сместить с трона Екатерину, когда исполнилось совершеннолетие великого князя Павла.

– Мы так и не выяснили, почему этот заговор тогда провалился?

– Теперь уже все известно. Предал один из секретарей Панина. Но сорвалось все по неожиданным обстоятельствам. Кто-то убил подполковников, которые пообещали вывести утром гвардейские полки к Зимнему дворцу. Убил всех пятерых в одну ночь накануне.

– И кто это сделал мы не знаем?

– Не знаем. Скорее всего Потёмкин.

– Сам, собственными руками?

– Он обладает огромной физической силой...

– В постели?

– Не только в постели. В постели последние годы он не силен. И кроме того, Потёмкин, несмотря на свою силу, когда доходит до крови и курицу не зарежет – такое, по крайней мере, складывается впечатление. К тому же в тот день он отсутствовал в Петербурге. Но это могли сделать его люди.

– Так кто же в одну ночь убил пятерых подполковников и сорвал заговор?

– Пока не удалось узнать. Кстати, всех их задушили в постели.

– Надеюсь, не в постели самой Екатерины?

– Нет, в своих собственных постелях. В одну ночь. При- чем не просто удушили – всем им свернули шеи.

– Всем пятерым в одну ночь?

– Да, всем в одну ночь. Впрочем, шеи свернули четверым. Пятого убили, при попытке схватить его, люди Шешковского – это глава тайной полиции Екатерины. Кто свернул шеи остальным – неизвестно. Видимо, кто-то из людей Потемкина...

– Нужно обязательно узнать, кто это сделал! Ведь этот кто-то, а, скорее всего, это не один человек, и они могут вмешаться в события и сегодня. Нам нужно предусмотреть любые неожиданности, исключить любой риск! Время может ускориться. Россия далеко от Парижа, но именно она может стать тем подводным камнем, на который налетит наш корабль, а этого нельзя допустить ни в коем случае...

После этих слов говорившие умолкли, словно обдумывая все, что сказали друг другу.

2. Убить с оглаской

Cherchez la femme.

A. Dumas.

Ищите женщину.

A. Дюма.

После короткой паузы разговор возобновился.

– Возникло ещё одно обстоятельство...

– Какое?

– Судьбу России, возможно, будет определять не фаворит, а фаворитка...

– Вот как! Лесбиянка?

– Нет, речь о фаворитке великого князя Павла.

– Но у него почти нет шансов на престол.

– С появлением этой фаворитки эти шансы очень сильно возросли. Судя по тому, что о ней известно, она может возвести на престол кого угодно.

– Кто она? И откуда вдруг появилась?

- Выпускница Смольного института благородных девиц.
- Институтка?
- Выпускница института. Фрейлина при малом дворе.
- Сколько ей лет?
- Семнадцать.
- И она имеет такое влияние?
- Великий князь полностью в её власти.
- Но семнадцать лет... Нужен опыт, деньги, в конце концов... Она богата?
- Совершенно без средств.
- На чем же основана уверенность в её силе и возможностях?
- На сообщениях N. Он никогда не ошибается. Он знает Россию как никто другой. Он пережил двух императоров и трёх императриц. В его оценках я не сомневаюсь.
- Да, я знаю. И N считает...
- N считает, что эта девушка...
- Девушка?
- Да, великий князь влюблён в неё платонически.
- Вот как?! Да, такое возможно только в России! Рядом с гаремом фаворитов матери императрицы – платоническая любовь сына, рвущегося к престолу!
- Ну, может не совсем платоническая...
- Ага, так всё-таки не платоническая?
- Пока платоническая. Павел не чужд телесным радостям – жена его на пятой беременности. Как у него сложится с фавориткой – легко догадаться. Её, как говорят, мечтают уложить в постель все донжуаны Петербурга. А у Павла таких возможностей значительно больше... А что делать с ней в постели он, в отличие от шведского короля Густава, знает не понаслышке... N, судя по донесению, сам без ума влюблён в эту фаворитку.
- N?
- N. Его донесение написано слогом восточного поэта, воспевающего розу своего сердца.
- Но... Сколько же ему лет?
- Около девяноста.
- Около девяноста?
- Никак не меньше, ведь он когда-то был приставлен ещё к Петру I.
- И он влюблён?
- Да, пылко и страстно, поверь моей способности по донесениям определять состояние, в котором находится пишущий.
- Верю. Мы не раз убеждались в этой твоей способности.
- Донесение N написано даже слегка изменившимся почерком – летящим, помолодевшим.
- Вот как... За ней кто-то стоит?
- Никого.
- Это точно?
- Точно.
- Хорошо. Что же она хочет? Каковы ее цели?
- У нее нет никаких целей.
- Но она оказывает влияние на великого князя? У нее должны быть какие-то цели. Если она их не осознает, мы все равно должны их понять.
- Они известны.
- И?
- Добро и справедливость, благо и величие России.
- Ого! У семнадцатилетней институтки!

– Она влияет на великого князя, но ее собственные представления во многом сформировались под его же влиянием.

– Он сумасшедший?

– Нет. Но Дон-Кихот.

– Все это опасно. Очень опасно. Не только для России. Сейчас судьба нашего дела решается в Париже. А Россию нам нужно на время исключить из игры. Хорошо, если бы она уснула в своей зимней берлоге года на два – на три. В крайнем случае ее придется парализовать. И если для этого нужно снять с шахматной доски Екатерину с ее Потемкиным и великого князя Павла и даже эту его фаворитку, которая уже вызывает симпатию у меня самого – значит снимай их с доски, как мы снимаем самую простую пешку.

– Всех?

– Пока что достаточно снять с доски Екатерину и Потемкина.

– Когда это должно быть сделано?

– Если Турция начнет войну... А Швеция последует за ней... Я думаю, это ненадолго задержит Екатерину... Русские рано или поздно победят... И тогда, укрепившись на севере и на юге, Россия нависнет над Европой... Поэтому, когда русские войска подойдут на севере – к Стокгольму, на юге – к Стамбулу, Екатерина должна умереть... Как только возникнет угроза, что русские сядут в Стокгольме и Стамбуле...

– И Варшаве.

– Да, и в Варшаве, это тоже нельзя упускать из виду, когда эта опасность станет реальной – Екатерина и Потемкин и кто угодно вместе с ними должны умереть! Соколович может обеспечить это?

– Полагаю, Соколовичу это под силу.

– Но решение об этом он должен принять сам, как и обычно в таких случаях. Не нужно посылать для этого Маркиза. Маркиз – гений, можно сказать Полномочный Вестник Смерти, но если его отправить в Россию, он будет всего лишь наемным убийцей. Только когда Соколович и его люди сами сделают это, мы получим надежную опору в России. И только так со временем мы можем уничтожить ее.

– Но если удастся найти отречение Анны, уничтожить Россию совсем не обязательно...

– Конечно! Тогда мы могли бы использовать ее по своему усмотрению.

– И это позволило бы решить очень многие вопросы.

– Да, это заманчиво.

– Ведь время еще есть...

– Есть, но я думаю, совсем мало. События в Париже могут выйти из-под контроля... Да, это заманчиво... Россия – сторукое чудовище, управлять им, использовать его... Опасно... Но заманчиво...

– Если у нас будет отречение Анны...

– Да, конечно, если удастся найти отречение Анны, это станет возможно. Возможно, но опасно. Опасно, но заманчиво... Кто вручит Соколовичу перстень Понимающего?

– Я пошлю к нему Старика из Берлина. Он совсем стар. Но сегодня некого послать с таким поручением.

– Хорошо. Надеюсь, у Старика хватит сил доехать до Петербурга. К тому же он умен и опытен и сумеет оценить обстановку. Он ведь бывал в России?

– Да. Когда сорвался заговор Панина. Он не смог установить причину. Тогда погибли оба Понимающих. Остался только N. Но N Наблюдатель и ни в чем не участвует.

– Кстати, если N так стар, скоро потребуется замена и ему...

– Пока на его место нет никого.

– В России пятнадцать лет нет Понимающего. И всего один Наблюдатель. Мы очень плохо контролируем положение в России... Да... Этот секретарь Панина, который его предал... Он убит?

– Нет.

– Почему? В таких случаях положено убивать. Ритуальным кинжалом, с оглаской... Так делали всегда...

– Мы даже не знали о заговоре, который организовал Панин. Это была его собственная инициатива. Он входил в ложу шведской системы и поэтому сведения обо всем этом до нас дошли с большим опозданием. Конечно, было бы хорошо, если бы он возвел тогда на трон Павла и фактически прибрал бы к рукам Россию... Если бы мы знали о его замыслах, то с нашей помощью это, возможно, и удалось бы. Но он действовал один, никого не посвящая в планы, кроме своих приближенных. Так он надеялся избежать провала. Но и среди приближенных оказался предатель, он и донес Екатерине.

– Почему же его не убили?

– Тогда его не удалось установить. О нем узнали только сейчас – спустя пятнадцать лет...

– Кто узнал? Соколович?

– Нет. Соколовичу обо всем этом ничего не известно. Панина предал некто Бакунин. Сейчас он один из заместителей Остермана – главы Коллегии иностранных дел. О том, что предал именно Бакунин, каким-то образом стало известно великому князю Павлу. Через людей из его окружения эти сведения попали в Стокгольм, к королю Густаву, а потом дошли до Берлина и до нас.

– Этот Бакунин должен быть убит. Убит с оглаской – кара постигла предателя даже через пятнадцать лет... Час настал и суд свершился... Об этом должен говорить весь Петербург... И не только... Сообщение в газетах Парижа, Лондона и Берлина... Передайте все это Соколовичу...

– Через Старика?

– Нет. Косвенно. Соколович должен сам принять решение и действовать, ему ведь прекрасно известно, что нужно делать в подобных случаях... Это, кстати, станет для него еще одной проверкой... Ритуальный кинжал и как можно большая огласка... Да... Мы очень плохо контролируем положение в России... И ты прав, это отречение Анны даст нам возможность взять Россию в свои руки... Оно – ключ к России, но пока этот ключ не у нас...

– Думаю, Соколович сможет найти этот ключ.

Кто эти два человека, с легкостью распоряжающиеся судьбами стран и их правителей и даже направляющие ход событий? Опытный читатель не ошибется, если догадается, что это как раз и есть те верховные масона, которые правят нашим миром. Но как они это делают? Как они осуществляют свои замыслы и коварные планы? И удастся ли им погубить – или уничтожить, что не одно и то же, а может быть, все-таки одно и то же – Россию?

Я не стану отвечать на эти вопросы в самом начале моего сочинения. Попозже кое-что прояснится, но, конечно же, не все и не сразу. И даже первая часть, или, точнее, первая книга не даст еще всех ответов пытливому читателю, жаждущему познания первопричин и полного раскрытия всех страшных тайн.

Но за первой книгой обязательно последует вторая, а за ней третья и четвертая, а вот уж они-то, как и все последующие, откроют, наконец-то, глаза тем, кто желает видеть, сорвут все покровы и сделают тайное явным.

I. В Санкт-Петербурге

1. В особняке на Гороховой улице

*Не верь добру молодцу,
Добрый молодец обманет.
Не кори свое сердечко,
Что любви ожидает.*

Русская народная припевка.

Разговор, с точностью до слова приведенный в предыдущей главе, состоявшийся неведомо где и неведомо между кем, имел в скором времени самые серьезные последствия, и я, не откладывая, как у меня в силу привычки отвлекаться это часто случается, расскажу о них, не пропуская даже самых мелких подробностей, потому что впоследствии подробности эти могут оказаться очень важны для пытливого и внимательного читателя, а следовательно, и для сочинителя, то есть для меня самого.

Все началось с обыкновенного и незначительного происшествия, получившего, казалось бы, довольно традиционное продолжение, не однажды описанное в произведениях нашей изящной словесности.

Рано утром, на одном из петербургских рынков, в молочном ряду молодой человек лет двадцати пяти, по виду приказчик из приличной лавки, торопившийся куда-то, как все его собратья-приказчики, едва не сбил с ног Аграфену Перфильеву, молодую женщину, лет пять уже отпущенную на волю из крепостных и находившуюся в услужении – и как кухарка, и как горничная – у сенатора и члена Коллегии иностранных дел Афанасия Ивановича Бакунина, состоятельного господина, имевшего доступ ко двору и совсем не молодого, а, можно сказать, старика – Афанасию Ивановичу перевалило за семьдесят.

Жил он уединенно и нелюдимо, ни детей, ни близких родственников не имел, обходился без своего выезда, снимал полбельэтажа в доме на Гороховой улице. Из прислуги держал только вольнонаемную Аграфену и крепостного Якова.

Яков был и экономом, и слугой, и сторожем, и наперсником барина. Барин во всем полагался на Якова, хотя и держал его в черном теле, – но любил, и это было заметно, особенно тому, кто умеет заглядывать в тайники души, закрытые иной раз даже для самого их обладателя. Любил, как любят верного пса, и Яков знал и чувствовал это и, несмотря на грубость и придирки барина, отвечал на барскую любовь любовью холопией – ревностной и преданной, исправно служил барину, старея вместе с ним и становясь с каждым годом все больше похожим на него, как это происходит с верными собаками, живущими с одиноким хозяином.

Яков ведал домом, хозяйством, он знал волю барина, угадывал его желания, и домашняя жизнь сенатора текла медленно, ненарушимым порядком, под неусыпным оком надежного слуги. Свое земное предназначение Яков неосознанно понимал в том, чтобы служить барину и, самое главное – охранять его, так как неким внутренним чутьем улавливал, что барин кого-то или чего-то боится, опасается, и поэтому Яков был подозрителен, внимателен, осторожен и бдителен. Жизнь сенатора отделялась от внешнего мира надежной границей, за которой зорко следил Яков, и ничто не могло вторгнуться в эту жизнь, и никто не мог прошмыгнуть мимо слуги, оберегавшего своего барина.

Единственное, что отвлекало Якова от службы барину, так это его страсть к деньгам. Как дворový человек Яков не получал от барина ни копейки, и распоряжаясь его немалыми день-

гами, выделяемыми на ведение хозяйства, не зарился на барские деньги – в его-то положении можно бы безнаказанно приворовывать, но для Якова барское добро было свято.

С молодых лет Яков благоговел перед деньгами. От старика-отца, потомственного лакея, Якову досталось несколько сот золотых рублей, которые тот скопил за свою жизнь. Эти деньги и стали основой капитала – Яков держал их не в кубышке, а давал в рост и даже в торговый оборот через надежного человека, купца, которого он знал едва ли не с детства. Никому, в том числе и барину, и в голову не могло прийти, что к старости у Якова было в ходу больше двадцати тысяч рублей, прираставших с каждым годом.

Жизнь Яков прожил без семьи, не тратя деньги ни на кого и ни на что. То, что деньги можно тратить, он словно и не догадывался и, видя, как их тратят другие, Яков относился к этому с глубоким осуждением и презрением. Ведь любой потраченный рубль можно разумно сохранить, а потом и приумножить, а не выбрасывать на ветер по глупости того дурака, в руки к которому он попал. Каждая нажитая сотня рублей становилась для него такой же целью и смыслом существования, как и покой и безопасность барина, а все это вместе вселяло в него уверенность в правильном ходе жизни.

– Барин, он на то и барин, чтобы покой его никто не нарушил. А наше дело – холопье, верно служи, тем и спасешься, – любил говорить Яков, когда приходилось по какому-либо поводу высказывать мысли, близкие к философии.

Аграфена появилась в доме после того, как умерла старуха, с незапамятных времен прислуживавшая у Бакунина. Взял Аграфену Яков по рекомендации своего знакомого купца. Она тогда два года служила кухаркой при артели плотников, нанятых купцом на время подряда, после окончания которого Аграфена осталась без места.

До Аграфены у Якова в краткий срок успело смениться несколько кухарок и горничных – всех их он отнес в разряд «гулящих». Аграфена же «соблюдала себя», в работе оказалась исправной и сообразительной, а потому и прижилась в доме. Яков, заполучив стоящую работницу, даже подумывал, как бы выдать ее замуж, потому что «баба на передок слаба» и «не ровен час, не запряженная» может испортиться, «пойти в блуд». А с блудливой бабой жди в доме беды с любой стороны. Сама Аграфена не возражала против замужества, но так как уже однажды побывала замужем, твердо стояла на том, чтобы человек был порядочный и без «озорства».

О своей прежней жизни Аграфена рассказывала мало и неохотно. Происходила она из крепостных крестьян. Замуж ее выдали по малолетству, мужа за «озорство» отдали в солдаты. После того как муж погиб, старший брат их барина из Петербурга определил ее при себе в горничные, а незадолго до того, как помереть, написал ей вольную. Оставшись в Петербурге одна, с вольной на руках, она нанялась в кухарки, потому как «акрамя того ни чему не учена». Что же касается «до бабьей участи», она против этого ничего не имеет, «раз уж так бабе от века определено», но при условии, чтобы человек был без все того же, смущавшего и даже пугавшего ее «озорства».

Слушая Аграфену, Яков думал, что под «озорством» она понимает пьянство и соглашался с нею. Пьянство он сам считал глупым и пустым переводом денег. Аграфена же под «озорством» разумела совсем другое, что она в кратких словах объяснить не умела, для этого пришлось бы рассказать всю ее жизнь. А делать это ей очень не хотелось.

Короткая жизнь Аграфены была наполнена необычными событиями, в которых сама Аграфена участия вроде бы и не принимала, они происходили как бы рядом с ней, но швыряли ее, словно бурное течение утлую лодчонку, норовя разбить несчастное суденышко о крутые берега.

Честно говоря, я взялся за перо, чтобы описывать события значительные и важные, внесенные в летописи и труды знаменитых историков, и хочу, в отличие от них – знаменитых историков – показать скрытые пружины, двигающие намерениями великих мужей, и не сухо и

казенно, а как-нибудь поэтически представить картины движения народов, армий, водоворот революций и неудержимую стихию беспощадного, бессмысленного и потому животворящего бунта, и хотя бы немного повеселее описать созидательные, но скучноватые труды и подвиги неутомимых преобразователей истории и натуры.

Но признаюсь, и судьба Аграфены привлекает мое внимание, как все, связанное с женщинами, и потому мне трудно удержаться и оставить ее в стороне – в конце концов, я, помнится, как-то давал себе обет никогда не ограничивать свое сочинение в объеме, надеясь на неограниченное любопытство читателя и его привычку к нехитрому механизму чтения, без особого труда позволяющему составлять слоги в те самые слова, которые иногда чёрт-те что и значат.

2. История нелегкой жизни Аграфены Перфильевой

*Русая головка
Думы без конца...
Ты о чем мечтаешь,
Деввица-краса?
Русская народная песня.*

Аграфена в самом деле происходила из зажиточной крепостной крестьянской семьи одного из сел Ярославской губернии. Село их, большое само по себе – в полтысячи дворов – считалось глухим, так как располагалось вдали от проезжих дорог и торговых путей, на небольшой, не судоходной речушке, зато среди живописнейших холмов, лесов, лугов и малоурожайных, хотя и возделанных заботливой рукою, полей.

Жители села были по необходимости трудолюбивы, перед барином – послушны и покорны, богобоязненны – село украшалось замечательным по красоте храмом, выстроенным безо всяких архитекторов – верны царю и отечеству, так как каждый год исправно поставляли на государеву службу крепких и здоровых рекрутов, назад в село они уже не возвращались, а если и возвращались, то только калеками и увечными, мастеровиты, предприимчивы – ближе к зиме мужики расходились на заработки по всей великой Руси – по праздникам веселы, хлебосольны, приветливы и гостеприимны, все сплошь многодетны, на вид мелковаты, но расторопны, крепки, двужильны, болели редко, хмельное зелье пили только по праздникам, помирали в глубокой старости, были простодушны, но себе на уме, говорливы и покладисты, хотя среди них попадались и несговорчивые, упрямые, тугодумы и молчуны, опрятны и аккуратны и все как на подбор бедны.

Все, кроме двух семей – Перфильевых и Акундиновых.

Перфильевы и Акундиновы совершенно ничем не отличались от своих односельчан, но только жили богаче: избы у них были повыше и попросторней, ели они посытнее, деньги у них водились и на всякий случай и на черный день, девки их носили сарафаны и платки поцветастее, а мужики выглядели посолиднее, поважнее соседей, и колеса их телег, густо смазанные дегтем, никогда не скрипели.

Почему все жители села были бедны, а Перфильевы и Акундиновы – богаты, не смог бы объяснить ни один английский эконом, склонный к философическим измышлениям и подсчетам, тут озадачился бы даже знаменитый Адам Смит, если бы ему пришлось задаться таким вопросом. Не знали этого и сами жители села и даже их барин, поместье которого на-ходилося тут же, а дом с тремя колоннами стоял на одном из холмов, огибаемом речушкою.

И если бы спросить местных жителей, почему Перфильевы и Акундиновы богаты, а остальные бедны, то любой из сельчан, включая и барина, а он в молодости служил в войсках и подолгу жил в Москве и в Петербурге, то есть повидал свет, ответил бы:

– Таким образом спродвеку заведено, а значит, так оно и положено... И потому не нашего ума дело...

И это действительно так, потому что это могли подтвердить самые древние, почитай столетние старики, обитавшие по запечкам почти в каждой избе и только изредка вылазившие погреться на солнышке.

Семьи Перфильевых и Акундиновых издавна роднились почти только между собою. Аграфену просватали лет в двенадцать, а отдали в полную власть мужу – Григорию, когда ей не исполнилось и четырнадцати. Мужа Аграфена боялась, потому что он был не таким, как все крестьянские парни их села. Высокий, узкоплечий, он не так, как все, ходил, не так, как все, разговаривал, а уж смотрел совсем не так, как все.

Поговаривали, что когда-то, давным-давно, то ли прабабка, то ли прапрабабка Григория Акундинова стала любовницей барина, жила бесстыдно и детей рожала и от мужа, и от барина, но барская кровь не проросла сразу, а вот спустя многие годы все-таки пробилась.

Не в сородичей был Григорий язвителен, горд и небрежен, работы избегал, в драках по случаю свадеб или праздничной гульбы сходитья с ним боялись самые сильные бойцы – бил Григорий коварно и бессовестно, отцу и старикам перечил, знался с цыганами, ходили слухи, что и с конокрадами, в лошадях понимал толк лучше опытных лошадиников.

За это его и взяли к барскому двору, когда привезенная из Петербурга молодая жена барина выписала из Англии дорогих лошадей – высоких, стройных и норовистых. Сначала Григорий ходил в конюших, но потом за умные речи, ловкость и приличный вид сделался камердинером самой барыни.

Аграфена в свои неполные четырнадцать лет была недурна собой и в хорошем девичьем теле. Но попав с детских полатей в мужнину постель, ни разу слыхом не слыхивавшая о том, что в этой постели мужики делают с бабами, так перепугалась, что как ни бился с ней Григорий, раздвинуть ноги ей не смог. А когда озлясь, ударил ее по лицу, она укусила его за руку молодыми острыми зубами так, что позавидовала бы любая барская борзая.

Григорий завязал руку платком, принес плеть и, разорвав на неподатливой жене исподнюю рубаху, высек с плеча тяжелой плетью, окровавил простыню не «новобрачной кровью», но потом добыл из вечного женского источника и «новобрачной крови» растерзанной женской плоти, созревшей намного раньше перепуганной детской души.

Кровавые следы от плети быстро зарубцевались и почти сошли с молодого тела. Простыню Аграфена два раза выстирала и выполоскала тайком на рассвете, когда спят даже сторожа. В их краях не велся обычай выставлять напоказ свидетельства девства, наоборот, все, что связано с исправлением «бабьих обязанностей», тщательно скрывалось.

Муж не сек ее больше плетью, правда легче по ночам от этого стало не намного. Ноги она теперь раздвигала по первому требованию Григория, а то еще и до того, как он ложился в постель. Но вытворял он с ее телом такое, что хотя теперь она и не истекала кровью, но после ночи полдня ходила не поднимая от стыда глаз.

Мука эта длилась полгода. Через полгода молодая барыня родила сына и мало кто, взглянув на младенца, не признал бы в нем Григория, кроме, разумеется, старого барина, жившего только охотой и псарней, где, кстати сказать, Григорий стал его вернейшим помощником.

Григорий к этому времени ходил уже не только в камердинерах при молодой барыне. Он раскрыл хитроумные обманы немца – управляющего, и после позорного изгнания нехристы-колбасника сам занял освободившееся место.

– Ишь ты, – говорили на селе, – самого немца подкузьмил, для такого случая особая сноровка нужна...

Чем-чем, а сноровкой Бог Григория не обидел. Ходили слухи, что в скором времени Григория отправят за границу учиться огородничеству и хлебопашеству у тех же немцев, показав-

ших себя в этом деле образцовыми хозяевами. За границу собиралась и молодая барыня для укрепления здоровья на водах, тоже немецких.

Все эти планы однако не осуществились. Служанка молодой барыни, выученная ею на свою голову грамоте, нашла способ раскрыть глаза старому барину. Обиженная за отставку немца-управляющего (немец он вроде и дурак, а умел приласкать востроглазую девку), она написала послание младшему брату барина, служившему в гусарском полку, и тот, будучи крут нравом, немедленно приехал в имение своего наивного брата и принял надлежащие меры.

Григория в одночасье забрали в солдаты. Жену его – Аграфену, ходившую сначала при кухне, а потом в горничных, сослали, как тогда водилось в подобных случаях, на скотный двор. А молодая барыня оказалась под домашним арестом на хлебе и воде – вопрос стоял о ходатайстве перед Священным Синодом о разводе и определении ребенка, рожденного во грехе, в сиротский дом.

– На то он и военный человек, – одобрили и дворовые люди, и сельчане действия брата барина. – У него все по команде положено исполнять. Раз-два – и порядок.

Григорий не смирился с таким порядком. Он сбежал из «солдат» и с целой шайкой сотоварищей начал грабить и разбойничать по окрестным селам и деревням. Говорили, что Григорий вот-вот явится и освободит молодую барыню и своего единокровного сына, так как у него целый полк рекрутов, и все они с оружием. На самом деле разбойников было всего полтора десятка.

Воинская команда, вызванная из губернии, застала их в небольшой деревеньке. Григория и еще несколько разбойников, попытавшихся убежать, застрелили, остальных заковали в кандалы, чтобы отправить на вечное жительство в далекую Сибирь.

Событие это получило большую огласку, и в имение приехал старший брат барина. Он большую часть жизни провел за границей и слыл опасным вольнодумцем и чернокнижником. Но авторитет в глазах братьев он имел непререкаемый. Поэтому после объяснений о том, что все люди – и баре и крепостные – равны, причем равны и перед Богом, и перед законом, и «в своем естестве», младший брат умерил гнев и уехал в свой гусарский полк, молодая барыня все-таки отправилась вместе с ребенком за границу, а «во избавление мук» овдовевшую Аграфену возвратили в горничные.

Старший брат барина и ей что-то объяснял о равенстве всех людей. Однажды в разговоре он случайно обнаружил, что у Аграфены необыкновенная память и она может без труда повторить незнакомые ей фразы на французском языке, слышанные мельком несколько месяцев назад, когда молодая барыня вслух читала романы из своей библиотеки. Это и изменило судьбу Аграфены. Старший брат барина забрал ее с собою в Петербург, горничной, но объяснил, что поскольку все люди равны, он возьмет ее замуж, как только она выучит французский язык.

– Естество, – рассуждал старший брат барина, – всему основа. Все остальное суть дело воспитания и условий.

– Естество у тебя больно завидное, – объяснял Аграфене вольнонаемный камердинер старшего брата барина, – только ежели он тебя под венец поведет, что он с твоим естеством в постели делать станет, ему, почитай, уж за семьдесят... Да поперек барской прихоти молвить не изволь...

Хорошая память и несколько лет изучения французского языка не дали никакого результата. То ли от страха оказаться в постели барина, то ли по какой другой причине, опровергавшей мысль, что все люди равны не только перед Богом, Аграфена так и не заговорила по-французски. Барин же вскоре избавил ее от мучений, благополучно уйдя в тот мир, где, по догадкам некоторых мудрых людей, часто размышлявших на эту тему, все действительно равны, да и изъясняться по-французски совершенно не нужно.

Вот тогда-то молодая вдова и осталась в большом чужом городе, одна, не зная где преклонить голову. Но мир не без добрых людей и через какое-то время она оказалась в кухарках

у купца, человека строгих правил и нравов, а уж от него попала в дом сенатора Бакунина под строгий надзор Якова.

Правда, в то время с ней случилось еще одно происшествие, о котором не знала ни одна живая душа. Да и самой ей не верилось в произошедшее и она часто, отходя ко сну в своей вдовьей, одинокой, но не сказать чтобы холодной постели, размышляла, действительно ли это все приключилось с нею, или только пригрезилось в греховных помыслах.

В бытность ее кухаркой у купца, однажды, когда весь дом уснул и Аграфена тоже забылась сном после нелегкого дня, она вдруг проснулась, почувствовав на себе тяжесть мужского тела. В сиренево-синем лунном свете, лившемся из обледенелого окна, Аграфена увидела над собой лицо приказчика, приехавшего рано утром из Москвы к хозяину по срочному делу. Страх, что проснется спавшая в другом углу ее каморки девчонка-прислуга, а еще больше страх от мысли, что на шум может прийти сам хозяин – он работал по ночам и укладывался спать только под самое утро – охватил ее, и приказчик успел раздвинуть ей ноги. Ужас, что сейчас повторится то, что делал с ней по ночам муж, пронзил Аграфену и, поняв свое безвыходное положение, она закусила губу, чтобы вытерпеть боль и известное ей истязание.

Но боли не последовало, мало того, через некоторое время волна какой-то тающей сладости подхватила ее и она отпустила прижатую зубами губу и словно издали услышала свой сладостный легкий стон, не удерживаемый уже никаким страхом. Когда все закончилось, приказчик полежал рядом с нею, лаская ее набухшие груди и отвердевшие сосцы, а потом опять взял ее под себя, трепещущую и тающую, ничего не помнящую и уже неведующую ни страха, ни стыда – она сама раздвинула ноги, согнула их в коленях и опять закусила губу, но на этот раз не от ужаса, а чтобы все-таки хоть немного приглушить сладостный стон.

Под утро приказчик ушел и она уснула, первый раз в жизни удовлетворенная в желаниях женской плоти и первый раз счастливая неведомым ей раньше счастьем, ставшим доступным ей – уже не девочке-подростку с девичьим, рано развившимся истерзанным телом, а созревшей, расцветающей молодой женщине, отдающейся во власть своего женского, всепобеждающего и всепоглощающего естества.

Приказчик уехал назад в Москву в то же утро, даже не попрощавшись с нею. И изо дня в день, из месяца в месяц она как будто забывала ту ночь, и все, что произошло тогда, начинало казаться ей сном, но полностью не исчезало, то и дело пробуждаясь. И поэтому, когда Яков заговаривал с ней о замужестве, она давала молчаливое согласие на такой поворот в своей жизни, но, помня свою недавнюю юность, оговаривала единственное условие – чтобы человек был «без озорства».

3. Коварный посетитель

Timeo Danaos et dona ferentes.

Vergilius.

Боюсь данайцев, даже дары приносящих.

Вергилий.

Однако вернемся к тому, что случилось на рынке. Кувшин с молоком, который несла Аграфена, выпал из ее рук и разбился вдребезги. Молоко обильной лужицей растеклось по земле, на радость обитавшим в молочном ряду котам. Но не успела Аграфена ни вскрикнуть, ни всплеснуть руками, как виновник тут же осыпал ее витиеватыми извинениями.

Столкнувшийся с Аграфеной приказчик тут же забыл о своих срочных делах. Немедленно был куплен и новый кувшин, и молоко, а саму Аграфену приказчик проводил до самого дома, настойчиво добиваясь «знать как можно» опять увидеть поразившую «все чувства» Аграфену. И добившись ответа, гласившего, что она не в своей «воле», а в ведении Якова,

который «строг», ловкий приказчик уже на следующий день пил на кухне чай с Яковом и поглядывал на Аграфену, стыдливо опускавшую глаза под его нескромными взорами.

Оказалось, что приказчик совсем не одобряет «таких, которые себя совсем не соблюдают» и в отношении женского пола «намерений самых серьезных, потому как ему пора обзаводиться» и предпочитает не ветренных молодых, а женщин степенных и «при хорошем месте».

– Уж коли о семейственности дело, тут женщина себя должна знать, – говорил приказчик Якову, и старик не мог не поддержать молодого человека, не по своим летам рассуждавшего на удивление, по нынешним временам, здраво и «со смыслом».

Приказчик служил у француза-пирожника и не просто служил за приличное жалованье, но и вкладывал в дело «маленький, но свой капитал». А доходы от вложения имел «несравненные, потому как пирожные для бар с пятак размером семь рублей штука, по рецепту из Парижа, это не пуд сена за три копейки и не четверть ржи по два рубля».

Эти необыкновенные пирожные «с пятак размером, семь рублей штука» приказчик принес на следующее чаепитие. Чаевничали поздним вечером, когда барин уже отошел ко сну и можно спокойно вести разговор – и о достоинствах Аграфены, и – что не выходило из головы у Якова – о доходах с капитала, «ежели вкладывать» его не в четверть ржи, а в заморские пирожные для бар, не знающих деньгам счета.

Но проглотив пирожное и даже не успев подивиться, что в нем нет никакого привлекательного вкуса, Яков вдруг почувствовал, что веки его отяжелели, руки не слушаются и он опускается в какую-то глубокую темную яму. Аграфена тоже уснула сидя на стуле таким глубоким сном, что назавтра не смогла, как и Яков, вспомнить на допросе у пристава, а потом у обер-полицмейстера ни удивительных пирожных, ни даже самого чаепития.

Что касается приказчика, то на него пирожное не оказало никакого действия. Убедившись, что гостеприимные хозяева погрузились в беспробудный сон, гость вдруг как-то изменился в лице и сразу же перестал быть похожим на приказчика. Он взял за шиворот Якова, легко, словно куль тряпья, поднял его и отнес в комнатенку без двери при входе, положил на топчан, который занимал почти всю эту конуру, и в темноте обшарил старика.

На шее у него на шнурке висел ключ. Прикидывавшийся приказчиком гость прошел на кухню, взял огарок свечи в маленьком подсвечнике, зажег от стоявшей на столе большой свечи, достал из кармана небольшой нож, раскрыл и, вернувшись к Якову, срезал со шнурка ключ. Потом вернулся на кухню и заглянул в каморку рядом с ней – здесь жила Аграфена. Каморка оказалась чуть просторнее, чем у Якова, с дверью и с небольшим, занавешенным окном.

Оставив на маленьком столике огарок свечи, приказчик, превратившийся в таинственного злоумышленника, принес сюда бесчувственно спящую Аграфену и положил ее на аккуратно убранную кровать. Забрав огарок свечи и собравшись уходить, он вдруг задержался, опять поставил подсвечник на столик и поднял подола юбок спящей красавицы.

То, что открылось его взору, было достойно кисти любвеобильного венецианца Джорджоне, возвратившего одичавшему миру божественные формы Венеры, а еще более – резца безвестных греческих мастеров, умевших оживлять мрамор, превращая холодный белоснежный камень в дышащую томлением страсти плоть: линия сомкнутых крепких стройных ног Аграфены и линии ложбинки внизу живота сходились в вечный треугольник, заставлявший забыть вычислительные измышления всех геометров во главе с Евклидом, а темные волосы этого треугольника, из которых невозможно выпутаться мужскому взгляду, притягивали не только взгляд – злоумышленник коснулся этого упругого треугольника рукой – Аграфена вздрогнула во сне и слегка раздвинула ноги.

Но какая-то сила удержала молодого человека на краю соблазнительной пропасти – он вынул из кармана часы, посмотрел на них и, сжав губы, с сожалением завернул назад юбки, забрал огарок свечи и вышел из каморки Аграфены, оставив ей только сны и видения обманутых ожиданий.

Еще раз взглянув на часы, он на мгновение задумался, потом торопливо вышел в прихожую, осмотрел дверь, отодвинул все засовы и задвижки, их оказалось целых пять, вышел в коридор к черному ходу, с удивлением обнаружив, что он не заперт. Потом возвратился в квартиру сенатора Бакунина, на барскую половину, незатейливо состоявшую из внутреннего коридора и трех комнат. Двери в две из них – в столовую и кабинет – открылись, он заглянул в них и убедился, что никого в этих комнатах нет. Третья комната оказалась запертой – это, по-видимому, и была спальня.

В дальнем углу коридора, у стены стояла узкая металлическая лестница – от пола до самого потолка. Молодой человек скользнул по ней взглядом и отметив про себя, что лестница складная и, судя по двум полукруглым замкам, ее можно сложить втрое, особого внимания на нее не обратил. Она заинтересовала его как удобное приспособление, которое могло бы пригодиться самому при каком-нибудь случае. Он даже запомнил устройство замков, с помощью которых лестница складывалась.

Но с невнимательностью, свойственной молодости, не догадался поднять голову и осмотреть потолок в углу коридора. А напрасно. Эта невнимательность стоила жизни одному из петербургских донжуанов, никаким боком не причастному к делам, в которые когда-то по твердости и строптивости характера замешался хозяин квартиры, досматривавший этой ночью свой последний сон в спальне, казалось бы, надежно запертой на ключ.

Вернувшись на кухню, молодой человек погасил свечу на столе, а огарок поставил на пол за буфет – от этого кухня погрузилась в полумрак. Молодой человек вынул оконную раму, потом снял свой сюртук и жилет и размотал обмотанную вокруг пояса веревочную лестницу наподобие корабельной, но только связанную из тонкого, черного шелкового шнура, привязал ее к выступу подоконника и, выглянув из окна и увидев прижавшуюся к стене дома фигуру мужчины, бросил моток лестницы вниз. Шнур лестницы сразу же натянулся и через несколько минут в кухню поднялся еще один человек, на вид постарше первого.

– Черный ход не заперт, – вполголоса сказал молодой человек, ставя на место оконную раму, втягивая назад веревочную лестницу и надевая жилетку и сюртук.

– Что это может значить? – спросил поднявшийся.

По тону его голоса было легко догадаться, что он старше первого не только годами.

– Не знаю, – пожал плечами прикидывавшийся приказчиком молодой человек и подал старшему ключ, снятый с шеи Якова. – Спальня заперта, это, наверное, ключ.

– Зажги свечу, – сказал старший своему помощнику, – разговор может получиться долгим, – и, подумав, добавил, – а может, и коротким. Если ключ подойдет, сразу уходи через черный ход.

Помощник зажег от огарка свечу, взял подсвечник и двинулся следом за старшим на барскую половину. Старший, войдя в коридор, по приоткрытым дверям столовой и кабинета понял, что спальня справа, и направился к двери – его помощник уже стоял за спиной со свечою – и вставил в замочную скважину ключ. Раздались два легких щелчка – ключ подошел. Старший взял из рук помощника подсвечник, кивнул ему, открыл дверь и шагнул в спальню.

Человек, вошедший глубокой ночью в спальню сенатора и члена Коллегии иностранных дел Бакунина, был отставной поручик Соколович, тот самый, фамилия которого уже упоминалась в «Расшифрованных диалогах» как, впрочем, и фамилия самого Бакунина.

Соколович осмотрелся, поставил подсвечник на столик у кровати и достал из-за пояса небольшой кинжал. Лезвие кинжала было выполнено в виде извивающегося тела змеи и заканчивалось острым, как игла, хвостом. Верхняя часть тела змеи обвивалась вокруг перекладины простого гладкого креста, служившей крестовиной, а голова с двумя маленькими изумрудами, вставленными вместо глаз, и раскрытой пастью венчала рукоятку.

Каждый масон знал о существовании такого кинжала – его целовали, давая клятву, вступая в ложу. Им – точным ударом прямо в сердце – убивали тех, кто вольно или невольно разгласил какую-либо тайну или предал общее дело братьев-каменщиков.

Соколович присел на край широкой кровати. Бакунин спал нечутким сном, пятнадцать лет подряд укрепляясь в надежде, что никто не придет к нему с кинжалом в виде змеи, обвиняющей перекладину креста, напомнить о том, что однажды произошло в Зимнем дворце в городе Санкт-Петербурге благодаря письму Бакунина, переданному императрице Екатерине II. Соколович отвернул край одеяла и потрепал старика по плечу. Бакунин проснулся.

4. Я пришел убить вас

Feci quod potui, faciant meliora potentes.

Я сделал все, что мог, кто может, пусть сделает лучше.

Это был старый, много повидавший за свою жизнь человек, многое в этой жизни понявший и имевший смелость жить и поступать так, как он считал нужным, исходя из этого своего понимания. А главное, Бакунин вот уже пятнадцать лет готовился к приходу такого посланца, каким явился этой ночью Соколович.

Поэтому он ничуть не испугался, увидев в своей спальне незнакомца, державшего на левой ладони стальную змею, так, чтобы Бакунин мог хорошо рассмотреть этот кинжал. Он увидел кинжал, и хотя не целовал его – Бакунина принимали в ложу без обряда – но знал о том, для чего такой кинжал предназначен, знал, но не испугался.

– Да, – отвечая на вопрос в глазах Бакунина, подтвердил его догадку Соколович. – Я пришел убить вас, господин сенатор, за предательство и клятвопреступление по приговору братьев, членов ложи. Если ты закричишь, я сделаю это сразу, слуги усыплены сонным порошком и ничего не услышат. Ты проживешь ровно столько, сколько будет иметь смысл разговаривать с тобою...

– Я никого не предавал и не преступал никаких клятв, – усмехнулся старик – он приподнялся и сел, опираясь о спинку кровати.

– Ты выдал Панина и тех, кто вместе с ним хотел возвести на престол великого князя Павла Петровича. Ты надеялся занять место Панина в Коллегии иностранных дел, – сказал Соколович.

– Возведи Панин с Фонвизиним на престол Павла, эти немцы устроили бы из России вторую Пруссию...

– Но ведь ты был вместе с ними?

– Среди волков жить – по волчьей выть... Куда деться? И в ложу пришлось согласиться... Только никакой клятвы я не давал, в ложу меня записали со слов Панина... Без клятв... Я ведь им тоже был нужен... А окажись не нужен – втоптали бы в грязь, как последнего холопа. Возведи они на престол Павла, всех втоптали бы в грязь... Как во времена его прадедушки – Петра... Не пощадили бы и меня, это я доподлинно знаю, я их насквозь видел, каждый их вздох слышал. И я их опередил... По-моему вышло... Поздно вы спохватились...

– Поздно или рано, а каждому приходится отвечать... Ты предал... Нарушил законы чести...

Бакунин вдруг рассмеялся коротким старческим смехом.

– Законы чести?... Ты пробрался ночью в мою спальню с этим кинжалом, посланный тайной дьявольской шайкой по законам чести? – старик опять рассмеялся, сухо и зло, – о каких законах чести говорить после того, что вы натворили в России? По чести всех вас нужно убивать как бешеных собак, всю вашу змеиную братию, которая обседала трон еще при Петре Безумном...

– Это ты так величаешь императора Петра Великого?

– Романовское отродье... Бес в них вселился изначально... Удумали посадить на трон своего холопа Гришку Отрепьева, тот, иуда, продал Россию полякам... А потом сами прибрали престол к рукам... Беса, Филарета, воры поставили на патриаршество. А их последыш, подсунутый Матвеевым, навел вас, сатанинское семя, на Россию. Он с детских лет не в своем уме.

– Однако же просветил Россию, сделал великой европейской державой. А ты честишь его безумцем.

– А разве не безумен царь, населивший свое царство иноземцами? Иные с войсками не могут захватить державу, а он отдал страну на поток и разграбление, глумление и поругание... Разве не безумен царь, который в жены взял солдатскую шлюху из-под обозной телеги, а потом оставил ей трон? А его племянница, отдавшая страну в удел своему немцу-полюбовнику проходимцу Бирону?

– Зато дочь Петра, Елизавета, изгнала проклятых чужеземцев.

– Куда же ей было деваться? Еще немного и сдохла бы Россия, как загнанная кляча. А ведь тоже – в мамашу вся, да и в папашу своего – замуж за хохла свинопаса, тайком, как воровка, ночью венчанная... И не успели вздохнуть – племянничка на трон, немчуренка... А Панин с сотоварищи – сынка его... уготовил...

– Ну да, не сладко русскому человеку в России... – иронично поддакнул ночной гость приговоренному к смерти.

– А сладко? – не обратил внимания на его ироничный тон Бакунин, – ублюдки, кто урвал кусок пожирнее, продали все, что могли, деньги вывезли, упрятали в Амстердамы... Детки их в Лондоне и Париже проживают наворованное, с Вольтерами беседуют, по Европам разъезжают... Кареты восьмерней, английской работы... Возведи Панин тогда на престол Павла – тут бы неметчина от края до края, русских вы бы под корень свели...

– Екатерина тоже не природная русская царица...

– Да уж... Четвертушку русской крови матушка выблядовала в Париже от ублюдка Бецкого... Ну да лучше Екатерина... Она под юбкою вон сколько молодцов держит. Ей бы «девичью игрушку» потолще, а с Гришкой Орловым да с Потемкиным этой «игрушкой» никакой немец не померится...

– А тоже разграбили Россию, все в алмазах да золоте...

– А пусть себе... Россия богата... А кто ж не разграбит, коли у корыта рыло втиснул. При верхах оно только дурак не награбит... А вот вам со всеми ложами вашими, и Панину, и Павлу – вот вам, накось выкуси.

Старик сложил фигу и вытянул вперед костлявую руку, так, что едва не достал Соколовичу до носа. Тот отклонил голову и спокойно сказал.

– Убери, старик, свою фигу, покажи ее самому себе в зеркало. Сами виноваты. Просрали бояре Россию своими толстомясыми седалищами, сапоги царю Петру лизали, немцев себе на шею посадить позволили, так теперь не на кого, кроме себя, жаловаться, смотрите молчком, как бабы на троне прое...ут то, что от этой России осталось.

– Это твоя правда, – вздохнул Бакунин, убирая руку, – известное дело... Дурака и в церкви бьют... И плакать не дают... Так и русского в России... И что верно, то верно, сами и виноваты... Ну, да я что мог – сделал. Панин в могиле... Мастерам ваших лож шеи свернули. Да и Павел трона не дождетя... Так что поздно вы спохватились...

– Ну я то, положим, знал все это давно... Я не с ними, – вдруг покачал головой Соколович.

– Не с ними? – удивился старик, – что ж тогда пришел убивать?

– Так, как ты тогда – выдавать, – усмехнулся Соколович.

– А что, ожидать пока немцы опять трон приберут к рукам? Их бы всех, как Петр стрелцов...

– А князя Шумского? – вдруг спросил Соколович.

Старик смутился и, помолчав, то ли спросил, то ли сам себе сказал:

– И это вы знаете?..

– Я же сказал, я не с ними.

– А с кем?

– Как и ты. Сам по себе. А князя Шумского ведь тоже тогда убили.

– Он сам виноват. Не нужно было сходитьсь с Паниным. Я предупредил князя, но он, наверное, не захотел принимать в расчет мое предупреждение. Он надеялся, что отречение цесаревны Анны даст ему силу и он сможет командовать Павлом и отстранит Панина. Но он ошибался... Я писал ему, но он в ту ночь или не поверил, или не успел.

– Отречение Анны было у князя Шумского?

– Да.

– Теперь оно, наверное, у Екатерины?

– Конечно, – старик задумался. – Князя Шумского убили люди Шешковского и отречение Анны, скорее всего, попало к Екатерине. А с отречением Анны можно всех Романовых убрать от престола, собрать собор и выбрать новую династию, свою, без немцев.

– Панин знал о отречении Анны?

– Наверное, нет. Ни он, ни Фонвизин никогда не говорили об этом. У них на уме парламенты. Республика, чтобы масонам простор. А теперь в ложе знают об отречении?

– В ложе – нет. Но те, кто выше, знают. И они сделают все, чтобы заполнить его.

– Тогда Россия погибла.

– Да, тогда Россия у них в руках.

– Значит, я умру вовремя...

– Если бы было возможно, я бы не убивал тебя. Если не убью я, тебя все равно убьют они. И они поймут – и не только ты будешь знать, что я не с ними.

– А я унесу эту тайну в могилу?..

– Да.

– Ну что ж, я своё пожил, мне есть что вспомнить. По крайней мере ни Панину, ни Фонвизину не удалось добиться того, чего они хотели. И сделал это я.

– Ты можешь умереть спокойно. Они не сделали того, что хотели. А ты – сделал. Сегодня ты умрешь – другого выхода нет. Но ты можешь умирать спокойно, я постараюсь, чтобы отречение Анны не попало к ним в руки. И кроме того, твоя смерть будет лёгкой – можешь довериться моей руке.

Бакунин посмотрел на левую руку Соколовича, в которой в начале разговора тот держал кинжал. Кинжала в левой руке не было. И в то же мгновение Соколович нанес удар правой рукой – кинжал вонзился точно в сердце и старик умер действительно легко и мгновенно, без единого стога и вскрика.

Кинжал Соколович оставил в груди Бакунина – так полагалось по ритуалу – взял со столика подсвечник с догоревшей до половины свечой, вышел из спальни в коридор и от неожиданности остановился.

В углу коридора по лесенке, приставленной к стене, прикрывая за собой люк в потолке, спускался человек в форме гусара. Когда он оглянулся на свет свечи, Соколович узнал в нем известного своими любовными похождениями, дуэлями и картежными скандалами поручика Звягина.

Он тоже узнал Соколовича – им приходилось встречаться у князя Карла Долгорукова, устроившего у себя что-то вроде домашнего игорного дома для избранных любителей испытывать судьбу с помощью колоды карт, раскладывая их направо и налево. Соскочив на пол с последней ступеньки лестницы, Звягин пошел навстречу Соколовичу, прижимая к губам палец, и с удивлением, которое, казалось, готово уступить место хвастливому торжеству, громко зашептал:

– Соколович! Каким ты образом здесь? Поверь, я...

К ещё большему удивлению Звягина Соколович вдруг присел, поставил на пол подсвечник с горящей свечой и неожиданно, поднявшись, ударил Звягина кулаком в живот. От удара у ошарашенного Звягина перехватило дыхание. Он стал хватать ртом воздух, выпучив от боли и удивления глаза.

Соколович был намного сильнее Звягина. Он схватил его за грудки и, отрывая от пола, потащил в спальню, толкнул на кровать рядом с Бакуниным и, выхватив из груди Бакунина кинжал, вонзил его Звягину прямо в сердце, не промахнувшись и на этот раз даже в полумраке спальни.

После этого Соколович принес свечу, достал кинжал из груди Звягина и вернул на место, где ему полагалось находиться согласно масонскому обряду мести. Старик Бакунин сидел, приклоненный к спинке кровати. Лицо его было сурово и величественно, оскал змеиной пасти рукоятки кинжала выглядывал из складок ночной рубахи, набухших кровью, два изумруда змеиных глаз поблескивали зелеными искрами, в каждом из них отражалось пламя горящей свечи.

Поручик Звягин полулежал рядом. На его нагло-красивом лице застыла гримаса ужаса, смешанного с удивлением.

«Так вот почему черный ход не заперт, – подумал Соколович. – Что делать с этим Звягиным? Вынести? И куда его? Или оставить? Если дело дойдет до Шешковского, а оно, конечно же, дойдет до Шешковского, пусть поломают голову, старая ехидна...»

Соколович вернулся в коридор, опять поставил свечу на пол, поднялся по лесенке к потолку, прислушался и осторожно попробовал поднять люк. Крышка не поддавалась, он нажал сильнее, но люк оказался надежно запертым изнутри. Соколович спустился, сложил лестницу и посмотрел вверх. Люк снизу был совершенно незаметен, вписываясь в лепнину потолка.

Соколович взял свечу, прихватил лестницу и вынес ее в прихожую. Не зная куда деть лестницу, Соколович засунул ее под топчан, на котором со старческим легким храпом спал Яков. Потом заглянул на кухню, поставил на стол свечу и погасил ее. В полутьме он вышел из квартиры, нашел черный ход и через несколько минут перелез невысокий забор и выбрался со двора на Гороховую улицу.

И весь Санкт-Петербург, привидевшийся России в мертвенно-синем кошмаре императора Петра I, то ли Великого, то ли Безумного, и уютный особняк на Гороховой улице были погружены в сон. Шел всего лишь третий час после полуночи.

Спокойно спали швейцар в парадном особняке и сторож в каморке во дворе, спала этажом выше бельэтажа счастливая визитом Звягина искательница романтической любви, крепко спали под воздействием лошадиной дозы сонного порошка Яков и Аграфена, и мертвым сном навсегда уснули сенатор, член Коллегии иностранных дел Афанасий Иванович Бакунин и поручик Звягин, так некстати, неожиданно встретивший в этом особняке Соколовича и не успевший похвастаться своей очередной победой над слабым и уступчивым, всегда открытым нежным чувствам, а потому и беззащитным, женским сердцем.

II. Великая императрица

1. Мне бы его долги

С корабля на бал.

А. С. Пушкин.

Императрица Екатерина II Алексеевна прибыла в Санкт-Петербург спустя несколько дней после происшествия в особняке на Гороховой улице. Она возвратилась из путешествия в Крым, совершенного по просьбе и настоянию своего сердечного друга, тайного супруга и верного сподвижника в делах и намерениях светлейшего князя Григория Александровича Потемкина. Путешествие удалось на славу. Все недоброжелатели светлейшего, пытавшиеся оговаривать князя, были посрамлены. И уж теперь-то вместо ехидных замечаний и шепотка у нее за спиной наступит молчание.

О Боже правый, как же эти низкие люди, окружающие ее, ненавидят светлейшего! И как велик он оттого, что все они – карлики! Они не в силах извлечь из себя даже пошлой лестии, которой, казалось бы, переполнены с избытком и которую источают на каждом шагу по любому поводу и перед ней самой, и перед всяким, кто хоть на вершок выше их или на полшага ближе к трону. Но только не перед Потемкиным. Вот истинный Гулливер посреди лилипутов. Какую пищу для своего язвительного ума нашел бы здесь в Петербурге Свифт!

А путешествие удалось на славу... Шесть тысяч верст... Одно только это расстояние поражает ум и достойно быть запечатленным Геродотом и Плутархом. Кто из монархов – кроме Петра Великого – проделывал такой путь? Разве что только в древности Александр Македонский и Цезарь... А в наше время, в Европе, хваленый Фридрих за все свои войны не отмерил и половины того, истоптав башмаки на дорогах от одной границы Пруссии до другой.

Все, все было великолепно. И арка в Херсоне с надписью «Путь в Константинополь», и сам Херсон, явившийся вдруг на пустом месте, как в восточных сказках, будто по волшебному слову светлейшего, с гаванью, верфью и кораблями. И флот на рейде в Севастопольской бухте, и справленный ей белый адмиральский мундир. И великолепный фейерверк в Бахчисарае. Им светлейший отсалютовал ей, поправшей троны ханов, некогда владевших Россией и грозивших до нынешних дней, укрепляясь поддержкою турецкого султана. И рота гречанок-амазонок в Балаклаве в бархатных малиновых юбках, в белых тюрбанах со страусиными перьями и с заряженными ружьями. Для войны они, может, и не хороши, но для почетного караула, когда Стамбул станет Константинополем – неплохо придумано... Как и представление Полтавской баталии... Действительно она идет по стопам Петра. Действительно после Петра первого она – Екатерина вторая...

Дожди задержали переезд в Царское Село, только там в летнем дворце она и могла бы отдохнуть с дороги. И то ли от пасмурной погоды, серого давящего неба, то ли от отложенных забот возникло неприятное смутное беспокойство, причины которого она не могла понять, да и не хотела обращать на него внимания, стараясь отогнать, рассеять привычными каждодневными делами.

Рано утром Екатерина пересмотрела почту, отложив на вечер писание писем, перелистала приготовленные Храповицким газеты, собравшиеся за последнее время. Император Иосиф уже вернулся в Вену, обеспокоенный делами в Нидерландах, и снаряжает туда тридцать тысяч войск. Фландрия и Брабант устроили совершенный бунт. Штатгальтер Вильгельм V вынужден уехать из Гааги. Голландцы двое суток держали под арестом его жену принцессу Вильгельмину Оранскую, сестру короля прусского. Что же теперь от Пруссии будет в ответ?

Англичане шлют двенадцать военных кораблей и дают Вильгельму V денег. Король прусский собирает войска. У короля французского денег нет, потому и дать своим приверженцам он ничего не может.

Светлейший читать газеты не любит, нужно написать ему обо всем в письме. Император Иосиф давно добивается обменять ненужную ему Бельгию на Боварию. Ни Пруссия, ни Англия, ни даже Франция не поддержат его. В таком положении только в России он может видеть союзника. А Иосиф нужен для войны с Турцией... Года через два светлейший найдет способ начать эту войну, которая не только обеспечит России Черное море, но и даст выход к Средиземному – об этом не дерзал мечтать и Петр Первый, да, действительно она, Екатерина, станет Второй...

Ни мудрые законы, ни народное благоденствие, ничто не может равняться в истории с воинской победой... Какие бы тяготы ни пришлось претерпеть, бедствия и жертвы, но победа возносит на вершину славы. И только светлейший мыслит сходно с нею, только с ним возможны великие дела.

Екатерина вспомнила, как на Полтавском поле под гром пушек с поклоном подала Потемкину пальмовую ветвь: «Отныне именоваться Таврическим!» Так и пишется история: Крым – часть империи Российской, Потемкин Таврический – ее история, и все сие – дела Екатерины, равные делам Петра...

Когда-то ее называли бесприданницей... Да, она приехала в Россию бесприданницей; за ее соперницей, принцессой Саксонской Марианной, дочерью польского короля Августа III давали в приданое Курляндию. А у нее, тогда еще Софии-Фредерики, или просто Фике, весь багаж по приезду в Россию состоял из трех платьев, шести рубашек и дюжины носовых платков. И вот ее приданое – Крым и Черноморское побережье – и то ли еще впереди...

Просмотрев иностранные газеты, как всегда толково подобранные Храповицким, Екатерина взяла в руки лист бумаги, на котором красивым почерком было написано:

Всепресветлейшая Монархиня
и Всемиловитейшая Государыня!
Мать моя уж предварила
И письмом тебя просила
Нашу участь облегчить,
Долг отцовский заплатить.
Ее просьбу повторяю,
Под покров твой прибегаю.
Будь нам матерью несчастных
И нам бедным помоги,
Чтоб в страданиях ужасных
Не вели мы свои дни.
Беспредельну твою благодать
Здесь над нами покажи
И, на нашу сжалась младость,
Свою милость ниспошли.
Мы остались сиротами,
Мы лишились отца;
Кредиторы с векселями
Разоряют до конца.

Это было прошение поручика Владимира Аненского, поданное в обход канцелярии с нарушением уставного порядка. Такого за Храповицким никогда не водилось. За четыре года

его службы в должности статс-секретаря ни в каком протезировании он не замечен. Взяв его с собою в путешествие в Крым, императрица оказала большую честь своему статс-секретарю, в достоинствах которого убеждалась все больше и больше.

Услужлив без лакейства, так сказала бы она о нем. С несомненными литературными способностями, что отметил и Дмитриев-Мамонов, а у него вкус имеется... Храповицкий обладал какой-то сдержанной учтивостью. С ним всегда приятно. На него никто ни разу не взглянул косо. Он никому не завидовал, не принадлежал к партиям. Он не из тех, кто так или иначе входил в круг Потемкина, но, пожалуй, единственный, кто не раздражен против светлейшего и относится к нему с неподдельным уважением. Как и к Дмитриеву-Мамонову, впрочем, их объединяет интерес к искусству и словесности...

Помня о Безбородко, который долгое время умел прикидываться и казался ей добрым и достойным человеком, но потом Екатерина раскусила его – и обнаружилось скрытое тщеславие и непомерная зависть, она заподозрила и Храповицкого в сокрытии истинных чувств. Но с каждым разом убеждалась, что подозрения напрасны и что будь все ее придворные таковы, как господин Храповицкий, то господину Свифту, охотнику до пороков души человеческой, при ее дворе поживы не нашлось бы...

А кроме того, Екатерина знала, что в молодости Храповицкий пережил несчастную романтическую любовь, и это вызывало у нее симпатию к толстоватому, слегка неуклюжему, покладистому, неловкому, но умному и предусмотрительному статс-секретарю. Избранница молодого Храповицкого – Екатерина не знала, кто она, история приключилась очень давно – не ответила на его нежные чувства и предпочла другого. Екатерине казалось, что это навсегда оставило след в его душе. Сердечные раны заживают, но память о них живет долго...

Она считала, что когда-то и у нее отняли Салтыкова, а потом Понятовского и это тоже ранило ее сердце... А еще больший удар она пережила, когда умер Сашенька Ланской... Да, она тоже страдала... И поэтому ей так легко понять и посочувствовать человеку, с которым судьба обошлась жестоко и бессердечно...

Соперник Храповицкого пригрозил – но, к счастью, не открыто, не публично – вызвать его на поединок. Храповицкий совсем плохо владел шпагой. А наглый забияка слыл лучшим фехтовальщиком. И Храповицкий отступился... Он не струсил, но поступил вынужденно... И это совсем не бросило на него тень – е было ни оскорблений с обеих сторон, ни вызова... Это совсем не похоже на историю поединка князя Голицина и Шепелева – там произошел настоящий скандал. Князь Голицин погиб, он отличался необычайной красотой, фигурка – просто куколка... Но глуп. Безнадежно глуп. Заносчив. И трусоват, и вспылчив... Неприятная история.

К тому же там не была замешана женщина... А в таком случае поединок теряет всякую привлекательность... тем более, дуэли запрещены законом... А Храповицкому просто пришлось отказаться от своей возлюбленной... Тихо уйти в тень. И красавица тут же выпорхнула замуж за наглеца, все достоинства которого заключались в том, что он умел хорошо размахивать шпагой...

Интересно, не пришлось ли ей потом сожалеть о своем опрометчивом поступке... Да, Храповицкий когда-то страдал от сердечных мук и это возвышало его в глазах Екатерины. Он способен любить – а что может сравниться в этом мире с любовью, что может иметь значение в этой жизни, кроме любви...

Словно вызванный мыслями о нем, вошел Храповицкий. Он принес свежий номер «Санкт-Петербургских Ведомостей». Раньше «Ведомости» подавали в кабинет или к вечеру, или и того хуже – на следующий день после их выхода из типографии. Храповицкий, зная интерес императрицы к новостям, без просьб и напоминаний устроил все так, что номер приносили рано утром, еще до рассылки газеты и до того, как Екатерина принимала обер-полицмейстера Рылеева и тех, кто делал ей доклады.

– Что сие значит? – спросила Екатерина, показывая Храповицкому прошение в стихах.
– Изволил не отдавать в канцелярию, так как слог очень хорош, в канцелярии не поймут, а вам приятно прочесть, – ответил Храповицкий, приветливо улыбаясь.

– И сколько задолжал по вексялям этот поручик? – Екатерина с удовольствием отметила тонкую лесть в словах статс-секретаря, стало ясно, что поручик Аненский не протеже Храповицкого.

Он не прочь оказывать покровительство литературным талантам, и не упустил повода сделать ей приятное, подчеркнув, что она, с ее-то литературным вкусом, поймет то, на что не обратят внимание тупицы из канцелярии.

– Сто двадцать три рубля, – опять улыбнулся статс-секретарь.

– Мне бы его долги, – вздохнула императрица.

Путешествие удалось на славу, но расходы велики. Шепоток за спиной не стих. Поездка стала то ли в семь, то ли в десять миллионов... Однако светлейший молодец: «На что же мне, матушка, тратить, как не твое величие?» – и ведь прав... То ли семь, то ли десять миллионов... Светлейший всегда неаккуратен в счете... Когда она взяла в руки все это хозяйство, в казну собирали шестнадцать миллионов, а толком никто и не знал сколько, и как выяснилось при строгом спросе – не шестнадцать, а двадцать восемь.

Теперь, спустя двадцать пять лет, собирают пятьдесят пять, одиннадцать уходит на сборы, чистыми в казну – сорок четыре миллиона... А недоимки... Но и денег-то этих не видишь, они уже потрачены наперед, приходится жить в долг, а как быть? Людей в государстве стало вдвое, и доходов почти вдвое, а расходов и того больше. Приходится в долг, да еще и негде взять...

Только старых, амстердамским банкирам, процентов платить – восемь миллионов гульденов... А всего долгов наберется миллионов пятьдесят... Это почти годовой доход казны, вместе с издержками по сбору... «Кредиторы с вексялями разоряют до конца,» – хороший слог... Только и спасение, что печатать ассигнации...

Ассигнаций сначала печатали по миллиону в год. Набралось почти пятьдесят миллионов... Прошлогодним манифестом объявлено обязательство не печатать свыше ста миллионов ассигнаций, чтобы удержать курс... Пятьдесят миллионов – на обмен старых, остальное – в долг дворянству под восемь процентов, да на городское устройство. Пятнадцать миллионов на случай неожиданной войны. А денег в казну с этих ста не наберется и пяти миллионов... А у поручика Аненского – неподъемный долг – сто двадцать три рубля и хороший слог: «Кредиторы с вексялями разоряют до конца»...

Екатерина вспомнила, как по приезде в Тулу у нее испортилось настроение – такое с ней случалось редко, она всегда держала себя в руках. Но разговоры о засухе, о неурожайном годе, о том, что куль ржи уже семь рублей, так подействовали на нее, что, сославшись на недомогание, она даже не пошла в дворянское собрание на встречу с тульскими дворянами, а уж такое она позволила себе впервые...

2. Непозволительная дерзость

*Не осерчай, матушка,
Не взгневись
На своих
Глупых детушек.*

Русская народная песня.

Чтобы хоть как-то отогнать тягостные мысли, настойчиво подступавшие сами собой, Екатерина полистала «Санкт-Петербургские ведомости». Не успев дойти до иностранной хроники,

которая всегда рассеивала мысли императрицы, она вдруг наткнулась на сообщение по Петербургу и, зацепившись за слова «убиты в постели», не успела отвести взгляд и начала вчитываться, сначала перескакивая со строки на строку, а потом возвращаясь и внимательно перечитывая.

«Сенатор Афанасий Иванович Бакунин... Гусарский поручик Звягин... Убиты в постели... Особняке на Гороховой улице... Кинжал, как сказывают, коим вершат месть масоны тайных лож...»

Екатерина поднялась из-за своего стола и начала расхаживать по комнате, закатывая до локтя рукава платья – белые и все еще красивые ее руки покрылись красными пятнами. Все это означало крайнюю степень волнения и гнева. Храповицкий замер у стола. Перед тем как подать газету, он сам просмотрел ее – но только раздел иностранной хроники – и ничего, что могло бы так взволновать императрицу, не заметил.

– Как можно такое писать в газете?! Кто позволил дойти до такой глупости! Какая месть! Какие масоны! Где масоны?! В Петербурге масоны?! Калиостро, мерзавца, я выслала, какие масоны? Что за непозволительная дерзость! Где Рылеев? Немедленно сюда этого старого дурака!

Храповицкий, сам состоявший сразу в шести ложах – как он полагал, ради хороших знакомств, приятных и полезных встреч – первый раз видел Екатерину в таком состоянии. Лицо ее, как и руки, тоже покрылись красными пятнами, глаза сверкали, она, казалось, совсем потеряла власть над собою.

Храповицкий не сомневался, что Екатерина прекрасно знает, что он состоит в ложах, и уж тем более знает о масонстве своего давнишнего любимца Елагина и не раз шутила, намекая на это как на простительное чудачество. Откуда такая вспышка гнева, что из этого выйдет?

Рылеева, который и без того должен был через час делать свой доклад императрице, срочно отыскали. Выслушав его сбивчивый рассказ и ответы на вопросы, Екатерина приказала изъять весь тираж «Санкт-Петербургских ведомостей», сжечь, и перепечатать наново, без сообщения об убийстве Бакунина. О Звягине велела сказать, что он убит на дуэли. О Бакунине написать в следующем номере газеты, что сенатор скончался в «преклонных летах».

И хоронить обоих тихо и незаметно. Дворового человека Якова приписать к казенным крестьянам одного из дворцовых имений в Казанской губернии, вольнонаемную Аграфену поселить мещанкою в Москве. Отдавая эти распоряжения, Екатерина говорила спокойно и только в конце вдруг совсем другим голосом, жестко и словно с угрозой сказала Рылееву:

– И кинжал этот, про который сдуру написали в «Ведомостях», мне на стол. Немедля.

А когда Рылеев, вытаращив от усердия глаза, чуть не печатным шагом вышел из кабинета, Екатерина, уже совершенно владея собою, ласково обратилась к Храповицкому:

– Ну, что Александр Васильевич, напугала я тебя? Гневаюсь на человеческую глупость. И пиесу писала о вздорных домыслах о масонах, и на словах всех учу прежде думать, чем слухам верить, а уж в газете на весь Петербург сплетни разносить и того хуже...

Храповицкий не знал, что ответить. Екатерина словно извинялась за свою несдержанность, за неожиданный взрыв гнева и вместе с тем в ее голосе улавливались железные нотки предупреждения помалкивать о том, невольным свидетелем чего стал статс-секретарь. Об этом Храповицкого можно и не предупреждать – и Екатерина знала, но все-таки предупреждала. Что-то большее, чем предупреждение слышалось в ее голосе и особенно мелькнуло во взгляде. Она словно не только советовала держать язык за зубами, но и подсказывала забыть все услышанное, забыть сразу и навсегда. И в совете этом слились и участие и угроза.

– А что, Александр Васильевич, подсчеты твои по недоимкам для Манифеста? – уже привычным голосом, как будто в самом лучшем расположении духа, спросила Екатерина.

Храповицкий кроме того, что исполнял обязанности статс-секретаря, был управляющим экспедиции о государственных доходах и расходах и так аккуратно и толково вел дела, что заменять его в этой должности Екатерина не хотела да и не находилось кем.

– К среде представлю черновой список, – Храповицкий с радостью вернулся к обыденным делам.

– И каковы подсчеты? – уже почти смеясь спросила Екатерина.

К двадцатипятилетию благополучного царствования императрицы готовился Манифест, в котором она хотела объявить среди прочего и о сложении недоимок – всех или только части, в зависимости от того, сколько их накопилось за годы ее пребывания на российском престоле.

– Двенадцать миллионов, – ответил на вопрос Екатерины Храповицкий, – семь из них за последние десять лет...

– Вот что, – уже совсем по деловому, подумав, сказала Екатерина, – оставить за последние десять лет, а все до того, – сложить... И еще... Поручику Аненскому... За хороший слог вели выдать двести рублей из моих кабинетных. Кому, как не мне знать, что несладко, когда кредиторы одолевают... Кто, как не я заплатит... – Екатерина вдруг вспомнила, как после представления Полтавской баталии Суворов попросил заплатить его долги – три рубля за квартиру, и что ж – заплатила, Суворов чудачит, она подарила ему и табакерку с алмазами в сто тысяч, но табакерка в сто тысяч забудется, а три рубля за квартиру, выплаченные императрицей, останутся навсегда.

Как только Храповицкий, изобразив свою обязательную улыбку, вышел, тяжелые мысли опять нахлынули на Екатерину.

3. Кто убил?

Cui prodest?

Кому выгодно?

Кто и за что убил старика Бакунина? Ни дурак Рылеев, ни Шешковский, который не намного умнее Рылеева, не найдут ответа на этот вопрос. Ответить на этот вопрос может только она сама. И она должна ответить, потому что это касается самого главного, без чего она – ничто, и с чем она – все. Это касается трона.

Когда Екатерина чувствовала угрозу трону, которым владела вот уже двадцать пять лет, ум ее начинал работать ясно и точно, подобно часам, жестоко и неумолимо отсчитывающим минуту за минутой и не допускающим ничего другого в этом мире, кроме отсчета этих минут, неостановимо следующих одна за другой.

Если это не случайное совпадение или какая-либо нелепость, а такое тоже возможно, то Бакунина могли убить только за то, что произошло пятнадцать лет тому назад. Пятнадцать лет назад Бакунин служил одним из двух секретарей у Панина (второй, Фонвизин, истекающий желчью, обидой и недовольством на весь мир, сидит дома, разбитый параличом – у него от озлобления отнялась рука, которой он марал свои комедии, пытаясь уподобиться господину Свифту; только англичанина снедала ненависть и презрение ко всему человечеству, а господин Фонвизина всего лишь к русским экземплярам этого человечества, не способным в своей лени оценить блеск его немецкого ума).

И Бакунин выдал ей тот нелепый заговор Панина, чтобы, когда Панин окажется в Сибири, занять его место главы Коллегии иностранных дел. Бакунин вполне бы справился на этом месте... Впрочем, не таким уж и нелепым был тот заговор... Это теперь, спустя столько лет он кажется нелепым... А тогда Панин действительно мог посадить на трон Павла и устроить русскую пародию на английский парламент, состряпанный немцами... А вернее, пародию на парламент шведский, хорошо Панину знакомый.

И что тогда стало бы с ней? А с империей Петра Великого? Россия превратилась бы в провинцию Пруссии, а ее сын – сын Петра-Ульриха – стал бы прусским капралом, всецело преданным своему командиру... О каком греческом проекте могла бы идти речь? О каком разделе Турции, о каком походе в сказочную Персию или Индию? О каком величии, о какой славе, месте в истории, памяти потомков...

А что бы они сделали с ней самой? В лучшем случае отправили бы в Гатчину и держали взаперти, как она сейчас держит Павла, но она это делает ему на пользу, чтобы его глупость оставалась в пределах гатчинского уезда...

А в худшем случае... В худшем случае произойти могло что угодно... Примеры тому описаны у Тацита, да и в российской истории.

Это теперь все произошедшее, действительно, кажется нелепостью... А тогда положение было катастрофическим... И спас не кто иной, как Бакунин... Впрочем, спас не Бакунин... Бакунин только предал своего хозяина, которого он, как водится между хозяином и слугой, ненавидел лютой ненавистью... И ненависть эта порождалась не напыщенной глупостью, как у Фонвизина, а глубокой, настоящей ненавистью, коварной и беспощадной ненавистью к немецким выскочкам, со времен Петра Великого пролезшим везде и всюду...

Спас не Бакунин, спасла Перекусихина, верный, старый пес с беззубой пастью, готовый даже без зубов уцепиться во всякого, кто приблизится к хозяину... Перекусихина привела того, непонятно откуда взявшегося, поручика... По фамилии Соколович... Когда ситуация уже стала безвыходной, он взялся в одиночку решить все дело. Она не поверила, но другого выхода просто не было... Он совершил невозможное... Решительный и сильный человек, человек такой же силы, как и она сама... Только еще сильнее... Она это поняла...

Он потребовал, чтобы она заплатила ему миллион рублей... И она заплатила эти деньги... Еще не известно, что опаснее – воспользоваться его услугой или не заплатить договоренную сумму. Когда она в подвале у Шешковского увидела подполковников, которые обещались заговорщикам привести к Зимнему дворцу свои полки и которым Соколович, как цыплятам, свернул шеи она содрогнулась от ужаса – она поняла, что он, Соколович, способен свернуть шею и ей самой – не выполни она свое обещание заплатить, или если он, Соколович, по любой другой причине, или любой другой необходимости, вдруг возникшей, решит это сделать.

Только два раза в жизни она содрогалась от ужаса, теряя контроль над собой. Один раз – когда увидела убитого Петра Ульриха. Тогда просто потому, что она сделала это впервые, первый раз убила того, кто мешал ей, сам того не понимая, занять трон. Окажись Петр Ульрих хоть чуточку умнее, ему бы бежать в свой Гольштейн, оставив не только негра, скрипку и рябую дуру Воронцову, но и верхнюю одежду за неимением времени накинуть на плечи свой дурацкий прусский мундир.

Без содрогания она убила несчастного узника, Ивана VI, которого так и не осмелилась убить императрица Елизавета. И глупую княжну Тараканову, и злодея Пугачева. И, не вздрогнув, убила бы, если бы это понадобилось, и обласканного, но так и не приученного есть с хозяйской руки Румянцева, не забывавшего, что он сын Петра I. И всю до единого человека семейку Разумовских, то и дело поглядывающих на трон. И даже своего сына Павла – всех, кто, не чувствуя опасности, мог приблизиться к ее трону. И даже добряка Храповицкого, если бы ему, хотя бы по неосторожности, пришла в голову мысль о троне, мать его ведь тоже была незаконнорожденной дочерью Петра I...

Но она содрогнулась, когда Соколович убил тех пятерых подполковников, согласившихся помочь Панину возвести на престол Павла в день его совершеннолетия...

Содрогнулась, потому что поняла истинную силу этого человека. Поняла, что он, Соколович, равен ей самой. И Фридриху. А из живущих в это время никого равного им и нет.

Дальше уже идут и Петр Великий, и императрицы Елизавета и Анна Иоанновна, и царевна Софья, и Людовик XIV, и Елизавета Английская... И те, о ком писали Тацит и Плутарх.

Впрочем, Соколович убил не пятерых, а только четверых. Пятого, князя Шумского, убили люди Шешковского, посланные Соколовичем... Позже она догадалась, что Бакунин, хоть и был секретарем у Панина, но имел связь с князем Шумским, после которого и остался след к отречению цесаревны Анны... Бумага, которая не найдена до сих пор... Бумага, с помощью которой можно в одночасье лишит трона и ее саму, и Павла, которому он никогда не достанется, и внуков, на которых она так надеется...

Бумагу эту нужно отыскать во чтобы то ни стало, отыскать и немедленно сжечь, а пепел развеять по ветру, чтобы от той бумаги не уцелела даже щепотка пепла... Только кто разыщет эту бумагу? Рылеев? Шешковский? Вяземский? Куда им... Кто бы убил в тюремной камере законного наследника престола, если бы это она не сделала сама... Кто бы посадил в крепость наглуго самозванку, если бы это не сделала она сама... И кто бы отрубил дикую голову Пугачева, если бы не она сама... И эту страшную бумагу, отречение цесаревны Анны, бумагу, которая пострашнее заговора Панина, может найти только она сама...

Бакунин знал об этой бумаге... Мог знать... Кто же убил его спустя пятнадцать лет? Масоны? Екатерина не верила рассказам о масонах. Не верила и боялась их, как взрослый боится привидения, в которое он уже не верит, но которым его пугали в детстве, когда он не хотел засыпать в своей кровати.

Но кто-то ведь убил Бакунина... И если его убили за то, что он сделал пятнадцать лет назад – помешал отнять у нее трон, то что тогда те, кто убил его, сделают с ней? Убить ее не намного труднее, чем этого жалкого старика...

И все-таки она не боялась, что ее убьют. Где-то в глубине души она верила в свою звезду, в то, что ее не только не убьют, но и в то, что она не умрет, по крайней мере сейчас, в ближайшее время, а если и умрет, то еще не скоро, и это «еще не скоро» каждый раз будет отодвигать уход из этого мира...

Нет, она не боялась своих доморощенных масонов. Они не способны убить. Сама убивавшая много раз, она понимала, как это нелегко, она знала, здесь, в России, в ее окружении никому не под силу убить, даже Потемкину. Мог только один Пугачев, но его уже нет... Да еще Алексей Орлов... А те, кому не дана такая высшая власть – убивать, не опасны для того, кому это позволено и кто может решиться на это... Когда-то она решилась, и этим определена ее судьба...

Те масоны, что в Европе... Те, возможно, и могут... Однажды светлейший рассказал ей, что масоны готовят убийство всех европейских монархов. Всех в один день, специальными кинжалами, и кинжалы эти – по числу монархов – уже изготовлены и хитроумно напитаны для надежности ядом.

Правда, спустя некоторое время, когда она заговорила с ним о масонах, светлейший отмахнулся и сказал, что масоны это пустые бредни, дурацкие выдумки, что все они шпионы Фридриха, старого Ирода и им же придуманы. Но Фридрих, несомненно, был масоном. И не просто так умерла тогда императрица Елизавета, что спасло и Фридриха, и Пруссию, и, кстати, ее, Екатерину...

Тогда, когда она придушила заговор Панина, она не стала поднимать шум. И никто не был убит, кроме тех подполковников, которым Соколович свернул шеи и они уже не смогли вести войска приветствовать нового императора... И кроме жены Павла, ей, видите ли, вздумалось повторить то, что когда-то свершила сама Екатерина. Но ей, Екатерине, это удалось, потому что императрица Елизавета уже лежала в могиле, а главное, потому что она не танцевала на балах до упаду и не доверяла никому, даже тем, кого сама посвятила в заговор.

Жене Павла казалось, что она нашла своего Орлова – Андрея Разумовского, и он возведет ее на трон... И оставив тогда в живых Панина, этого уже бесполезного ленивого пустомелю,

она не пощадила жену Павла, остававшуюся опасной, и способ нашелся сам собой – она умерла родами и никто не обратил на это внимания. И сам Павел забыл о ней, как только ему в постель, не мешкая, подложили другой предмет, который отвлекает мужчину даже от мыслей о троне – а Павел, конечно же, мужчина, несмотря на всю его глупость, вон сколько внуков и внучек он уже смастерил со своей новой женой...

4. Жить и давать жить другим

Memento vivere.

Помни о жизни.

Да, надо жить и давать жить другим, но до той черты, которая проведена вокруг трона. Всех, кто эту черту намерен переступить, нужно уничтожать. Она это хорошо поняла. Это основной закон, который обязателен к исполнению для того, кто владеет тронном... И если он не исполняет этот основной закон, то уничтожают его самого. Закон сей неизбежен... В исполнении его – суть власти монархической... И она исполняла его неукоснительно... И убивала, потому что не хотела, чтобы убили ее...

Она не хотела быть убитой, она хотела жить... Это светлейший надеется на нечто после смерти. А она знает: после смерти не будет ничего. Она не говорила об этом громко, вслух, и даже молчала, когда светлейший высказывал нечто противоположное... Но знала, что там, после смерти – ничего, кроме темноты... Там не будет ни греческого проекта, ни самого светлейшего, ни Дмитриева-Мамонова, так похожего на ее Сашеньку Ланского, для которого там, после смерти тоже ничего. Оттуда никто не возвращался... Он, ее Сашенька, который единственный из всех любил ее, он бы вернулся к ней, вернулся бы, если бы это было возможно.

Но он не вернулся, как она ни плакала, как ни страдала. Ничего, ничего нет там – только черная яма... И даже голос не донесется из этой бездонной ямы, из этой холодной, пустой темноты... Все только здесь... И греческий проект, и Турция, и Персия, и Индия... И все – только пока ты на троне, пока тебя не спихнули сначала с трона, а потом в бездонную яму... Но она не даст себя спихнуть... Она еще побудет лет двадцать здесь... А не там, куда кто-то раньше срока отправил старика Бакунина... Кто?

Ведь никто не знал, что это он предупредил ее. Никто... Знала только она сама, да Перекусихина... Если он не разболтал сам... Но на него это не похоже, Бакунин не болтун... Да, конечно, он хотел сесть на место Панина, стать главою Коллегии иностранных дел. Но она посадила Остермана. Бакунин скрытен, строптив, неглуп, такой глава Коллегии ей не нужен. Остерман глуп, но на своем месте, Коллегия у нее самой в руках...

А то, что она не повысила Бакунина – так отблагодари она его, все бы поняли за что, она продлила ему жизнь, подарила лет пятнадцать... Никто не знал... Правда, мог догадаться Павел – в тот день, когда она отчитала его, и он во всем сознался и она ткнула ему в нос пачку писем его дрожайшей супруги к Андрею Разумовскому, Павел видел Бакунина в ее кабинете, но ведь это ни о чем не говорит...

А может, она напрасно испугалась... Может, все это нелепости масонов в духе Калиостро? Глупое шутовство, доводящее до бездумных выходов? И Бакунин запутался в сетях, которые они сами для себя плетут... Ведь он, конечно же, масон, как и Панин, и все из его окружения... И не стоит обращать на это происшествие особого внимания. Пусть Шешковский, как и положено, расследует это дело, но без огласки...

И светлейшему не стоит сообщать об этом – она уже хотела послать ему депешу, вызвать его срочно в Петербург – нет, не нужно... Она сама разберется, сама все уладит и предусмотрит... Светлейшему нужно готовить армии и флот. Года через два придется продолжить войну с Турцией... Нужны деньги... Много денег... Первая турецкая война обошлась в сорок семь

миллионов. Это годовой доход казны, это много, но это стоило того... У светлейшего достаточно хлопот и дел, он, действительно, так много успел сделать... Ему надо освободить руки, не отвлекать его. Он единственный, кто может сделать то, что не может даже она...

А он... Он через несколько лет будет в Константинополе... А все, что для этого нужно, она сделает сама... Нельзя давать волю страхам и поддаваться слабости... Она всегда умела находить силы в самой себе, она шла вперед несмотря ни на что... Маленькая и беззащитная девочка, одна в чужой стране, куда ее взяли только для того, чтобы вырвать из ее еще детского чрева то, что им нужно – наследника престола, а потом вышвырнуть ее, как ненужную детскую порванную пеленку. Они уложили ее в постель с этим ничтожеством, которое даже не умело сделать то, что от него требовалось, что умеет любой дворцовый лакей, в конце концов, любой деревенский мужик...

И она, тогда еще неопытная и неумелая, должна была стараться изо всех сил, чтобы помочь ему управиться со своим мужским хозяйством... А когда она родила и от нее получили то, что хотели, ее бросили одну, растерзанную, истекающую кровью, и она не могла допроситься даже подать ей воды... Но она все перенесла, она нашла силы, она все превозмогла...

О, теперь она не маленькая, беззащитная девочка... Она завоевала трон и вокруг этого трона проведена черта, которую она никому не позволит переступить. А тому, кто осмелится это сделать, придется рисковать жизнью, как это делала она, добиваясь трона... А потом, уже сидя на троне, она рисковала не меньше, а порой и больше... Да, она не маленькая, беспомощная девочка... Она – императрица, амодержица, потому что все держит сама. Но у нее есть и Потемкин, который поведет на юг армии, и никто не остановит его... Есть и ее Красный Кафтан – Дмитриев-Мамонов, совсем как Сашенька Ланской, это перст судьбы, что вместо безвозвратно ушедшего Ланского ей послан этот чудесный юноша. Тонкий и чуткий, может еще немного застенчивый, немножко нервный, но он возмужает под ее присмотром. И его она не позволит отнять у себя, как это случилось с Корсаковым...

Случай с Корсаковым очень сильно задел самолюбие Екатерины. Сильно, но не больно – потом, когда все прошло, быстро забылось... Красный Кафтан, так напоминавший ей Сашеньку Ланского, помог охладеть ко всей этой истории. И вспоминала она о ней совсем беззлобно и без тени обиды... Корсаков променял ее – сначала изменил ей с Брюсихой, она простила, обвинив во всем подругу, но потом, когда он завел роман с графиней Строгановой, прощать не стала...

Это Орлова, буйного Григория она терпела, тогда ей нужно было опасаться и побаиваться, и она побаивалась... И великой княгиней стерпела, даже когда он, подлец, однажды пустил в ее постель брата Алексея... Попробовать недоступной плоти, как же, е...ал царицу! Ну попробовал, ну и что? Да, она стерпела тогда... Пришлось стерпеть и не подать вида... Как будто она и не поняла, кто в ту ночь потрудился в ее постели... Ну и что теперь Орловы? Гриша сошел с ума и умер, его и жалко, да сам виноват... Алексей сидит в Москве как надутая мышь. Там же и Корсаков.

Но что ни говори, Корсаков иное дело... Она называла его царь Эпирский. В профиль он действительно был похож на Пирра, как его изображали на древних камнях... Как был красив, как ловок и смел! И даже дерзок, но только в постели... И удержу не знал – в постели... А так ведь глуп.

Да, он променял ее – на Брюсиху, на Строганову, ну и что он теперь имеет? А у нее – Дмитриев-Мамонов, он поистине второй Ланской... И оттого в душе никакой обиды ни на Корсакова, ни на Строганову. А на Брюсиху – нет, не обида, а неприязнь, как к неопрятной кухарке... Ведь ходила в подругах... И много было сокровенного, женского... А влезла, как свинья в чужой огород...

Екатерина вспомнила, как вошла в спальню и увидела Брюсиху, стоящую на четвереньках, с задранными на спину юбками и Корсакова сзади со спущенными панталонами... Ах, он

был красив и хорош, и изящен – словно молодой греческий бог – даже в ту минуту... Но Брюсиха, подлая тварь, стоя на четвереньках, с лицом, млеющим от удовольствия и натуги, словно она справляла нужду... Было в ней что-то скотское, именно скотское, она даже не сообразила, смутиться или испугаться...

Екатерина тогда не сдержалась и назвала обоих «скотами». Скоты и есть... А потом, когда Брюсиха, с хватками базарной товарки, пыталась сделать вид, что ничего особенного не произошло, чего, мол, не случится между подругами, она указала ей на дверь, не произнося ни единого слова. Как она перепугалась! Еще бы! Случись такое с Елизаветой или с Анной Иоанновной... Брюсиху она негласно выслала в Москву. Не в Сибирь, не под кнут, не с равными ноздрями...

Правда, высесть ее все-таки высекли... Не на площади, не кнутом, а в тайной комнате Шешковского, розгами, исполосовали жирную задницу, опустив эту задницу в хитроумном кресле в подвал... Как она орала, сначала от неожиданности и удивления, а потом от боли... Теперь вряд ли она подставит кому-нибудь свои жаждущие тела; интересно, как она объяснила все своему Брюсу, если тот, конечно, имел случай обнаружить порчу супружеского имущества...

Когда две женщины вхожи в интимные дела друг друга, обе должны соблюдать особый такт, а если одна из них – императрица, тем более... Начиналось все с шуточек Брюсихи, с разговоров о том, что «надо уметь попользоваться мужчиной», а потом незаметно она перешла границу дозволенного и закончилось все именно по-скотски...

И это все не случайно, она давно подозревала, что Брюсиха, сестра Румянцева, незаконного сына Петра I, потихоньку пытается поставить себя на равных... А Корсаков был хорош, замечательно хорош... Но потом явился Ланской и она благодарила Бога, что привелось расстаться с Корсаковым, как он ни красив...

Конечно, чего уж там, Брюсиха права, «надо уметь попользоваться мужчиной». Тем более, когда есть такая возможность... И только круглая дура не «попользуется», сидя на троне, когда вот они, на выбор... Но не каждая и сумеет... Та же самая Анна Иоанновна... Довольствовалась одним Бироном... Правда, говорят, он исправно и толково знал свое дело в постели... Немец, отличался исполнительностью... Глуп и недалновиден, зато исполнитель... А что бабе еще нужно...

Говорят, женщина любит ушами... Глупости... Женщина любит совсем другим местом... «Ласочкой», как это место называет Перекусихина, когда в духе. А когда сердится, то «чертовой берлогой», черт в этой бабьей берлоге не спит, как медведь в своей, а шевелится... А начнет «шебуршиться» да вытанцовывать, так «баба не знает куда ей и деться, на какой рожон сесть». Или еще называет «бабьим капканом», в который мужик «норовит влезть без оглядки». Вот чем баба любит... Чем же ей еще любить, как не этим самым местом, именно для этого и устроенным самим создателем? «Бабий мех дырявый, его никогда не наполнишь», – говорит Перекусихина. А вот Бирон наполнял... Говорят, по этой части работал как часы...

Конечно, ушами тоже любят... Приятно, когда ласкают нежным словом... С детских лет она ни от кого не слышала ни ласкового слова, ни похвалы. Только недовольный окрик матери. И чопорное молчание отца. Она любила отца в раннем детстве, ее тянуло к нему, как ко всякому мужчине. Но он был сух и холоден, ни приветливого взгляда, ни жеста. Знал, что она не его дочь... Но не нарушал своих обязанностей отца, сдерживал неприязнь...

Даже от прислуги и учителей никогда не слышала она искреннего доброго слова. Мадам Кордель иногда оживлялась, особенно когда пересказывала романы, ее вдохновляли повороты судеб героинь, мечтавших о страстной любви. Но и мадам Кордель не находила для нее ласки и нежности, больше занятая собою... Интересно, имелся ли у нее тогда сердечный друг, которому она внимала не только ушами...

У нее часто собирались на чаепитие ее записные поклонники – учитель чистописания Лорон, такой же беглый француз, как и она сама, но полное ничтожество, немец Вагнер, надутый педант, учитель немецкого языка, и учитель музыки, круглый дурак, Релинг. Вряд ли кто-то из них возвращался после чинного чаепития, чтобы хлебнуть из другой чашки Бабетты Кордель.

Если уж кто и пользовался ее чашей, то, скорее всего, учитель танцев... Тоже француз, как, дай Бог память, его звали... Нет, не упомянуть... Или пастор Моклер, он тоже регулярно посещал по воскресеньям мадам Кордель, в его проповедях она точно не нуждалась. А от более действенных наставлений, скорее всего, не отказалась бы... И мужчина был видный... Вышла ли она потом замуж, как мечтала?

А впрочем... Боже мой, как же она забыла! Уж кому-кому, а ей хорошо известна эта любовь ушами!

Ее дядя, Георг Людвиг, родной брат матери, восторженный, чудаковатый, тонконогий, но довольно красивый сам собою, младший наследный принц, которому никогда не дождаться своего мизерного наследства, такого крошечного, что оно даже не обозначено ни на одной ландкарте, без памяти влюбился в нее, четырнадцатилетнюю Фике, никому не нужную бесприданницу.

Фике в детстве часто гостила у герцогини Елизаветы Софии Марии Брауншвейг-Вольфенбюттельской, она когда-то крестила ее мать, тоже бесприданницу, и воспитала и выдала замуж из жалости к бедной родственнице. Мать пользовалась малейшим поводом, чтобы уехать из дома, а маленькую Фике оставить у герцогини, доброй старушки, сквозь пальцы смотревшей на подозрительные отлучки своей непоседливой крестницы и воспитанницы, не умевшей надежно скрывать своих желаний и увлечений.

У герцогини Фике попадала в другой мир, совсем не похожий на ее нищую жизнь в родительском доме. Там носили не фальшивые стеклянные, а настоящие бриллианты, в комнатах стояла дорогая старинная мебель, кушанья подавали на серебряных блюдах настоящие лакеи в ливреях, а чай пили из чашек тончайшего китайского фарфора. Герцогиню часто посещали юные Луиза Прусская и Юлиана Мария Брауншвейг-Беверийская, такие же принцессы, как и Фике, правда, немного постарше ее. Они быстро сошлись и стали подружками. Но прошло время и Луиза и Юлиана перестали появляться у «бабушки Елизаветы Софии». Одну из них выдали замуж за короля Швеции, другую – за короля Дании. Принцессы стали королевами. Фике наивно спросила, за какого короля и когда выдадут ее, она ведь, как всякая принцесса, тоже станет королевой.

– Королевских дворов не так уж много, чтобы всем принцессам стать королевами, – грустно сказала ей старая герцогиня.

По ее тону и по сожалеющему взгляду Фике поняла, что для нее нет ни королевского двора, ни короля, как их не нашлось когда-то для «бедной Иоганны», ее матери, не дождавшейся в свое время избранника-короля, хотя и мечтавшей об этом больше всего на свете и готовой, не раздумывая, прыгнуть в любой омут, с любого обрыва, в любую пропасть только за то, чтобы один день посидеть на королевском троне.

И со временем Фике узнала, что да, действительно, принцесс очень много (списком принцесс-сверстниц Фике, ее ближайших соседок и родственниц, можно заполнить несколько десятков страниц и я не делаю этого только из нежелания испытывать небезграничное терпение моих прилежных читателей), никому из них не суждено не то что стать королевами, а даже просто выйти замуж за принца, обладателя хотя бы наследного титула без каких-нибудь владений.

Поэтому, когда принц Георг Людвиг вдруг объяснился ей в своих чувствах, она едва не задохнулась от счастья.

О, какие признания он делал! Какие слова говорил, неистово размахивая руками! Наверное, он казался смешным. Он восторгался ее синими, как море, глазами. (Ни принц Георг, ни Фике ни разу в жизни не видели моря). Он клялся, что без ума от ее красоты. (Фике с детства привыкла, что все считают ее дурнушкой). Мать часто упрекала Фике в том, что она родилась на ее голову некрасивой и теперь ее некуда девать. И Фике верила, находя этому подтверждение в безразличных взглядах окружающих. Восторженные слова Георга заронили в ее сердце сомнение в правоте матери и всех тех, кто с детских лет смотрел на маленькую Фике как на дурнушку.

Дядя Георг умел улучшить момент, чтобы наедине сказать ей о своих чувствах. Она стояла перед ним, не смея шевельнуться, как будто заколдованная потоком его слов, почти бессвязных, но таких запоминающихся и на удивление понятных.

Дядюшке Георгу уже перевалило за двадцать четыре года – ей исполнилось только четырнадцать. Он начинал, словно торопясь.

– Вы ребенок, вам не понять чувств, какие я испытываю при виде вас, хватит ли у вас решимости ответить мне взаимностью?

– Я готова на все, если мои отец и мать позволят, – лепетала она в ответ, сама не соображая, что говорит.

– Я умру от страсти! Обещайте же, обещайте, что выйдете за меня замуж! О Боги! – дядя Георг воздевал руки вверх. – Вы будете моей! Я сделаю для этого все, я преодолею любые преграды! Вы будете моей!

Дядя Георг неожиданно поворачивался на каблуках и уходил широкими шагами, охваченный каким-то возносившим его куда-то в недостижимую высь чувством.

А она стояла несколько мгновений в оцепенении и вдруг срывалась с места и, не помня себя, мчалась, летела, не чувствуя ног, по коридору, в свою спальню, падала на кровать, тут же вскакивала и опьяненная каким-то сладостным дурманом, заполнявшим ее до краев, садилась верхом на подушки и скакала на них, отдаваясь на волю восторга и упоения. Она сжимала коленками туго набитую подушку и, двигаясь вперед-назад, вверх-вниз, до красноты натирала внутренние стороны еще детских тонких бедер и падала в изнеможении. Это происходило много раз, и хорошо еще, что никто не застал ее, лежащую навзничь с задравшимися юбками, с торчащими из-под них острыми коленками, обессиленную, с отсутствующим взглядом синих, как море, глаз.

Это и была любовь ушами... Она поддалась настойчивым речам дяди Георга и дала согласие выйти за него замуж. Дядя Георг считался неплохой партией. Наследников королевских тронов на всех принцесс не сыщешь, да и таких принцев, как дядя Георг, тоже не много. Когда-то и ее матери пришлось вый-ти за безземельного нищего принца, вынужденного за офицерское жалованье служить королю Фридриху II, и спасибо герцогине, крестной матери, что нашла хотя бы такого жениха.

Дядя Георг служил в прусской армии, как и считавшийся ее отцом Христиан-Август Ангальт-Цербстский, которого не интересовало, за кого дочь выйдет замуж. Все решала мать. И она согласилась на ее просьбу. Затеи Иоганны обратить на себя внимание – то есть на то, что у нее, Иоганны, есть дочь на выданье, такая же нищая принцесса, как и ее мать, русской императрицы тети Эльзы, поздравления, посылки портретов ничего не дали. Нужно было как-то пристраивать дурнушку Фике.

К тому же дядя Георг преуспел и с уговорами своей сестрицы. Вся родня недолюбливала Иоганну за страсть к интриге, завистливость, надменность не по чину и любовь к сплетням. И только Георг расточал ей комплименты, причем совершенно искренне в силу своего простодушия, а это всегда заметно и зачлось соискателю руки четырнадцатилетней прелестницы.

Мать так сжилась с мыслью, что она выдает Фике за своего брата, что даже не сразу отказалась от этого намерения, когда выяснилось, что дядя Георг послан Фике не судьбой, а кем-то из торопливых и неловких ее, судьбы, подручных.

Сама судьба не поспешила на другой подарок маленькой бесприданнице. Подарок оказался ой как не прост. И пришлось ой как потрудиться, чтобы его получить. Но числившаяся пока что в дурнушках Фике была согласна потрудиться, чтобы потом, в случае успеха, любить не только ушами.

Во время новогоднего завтрака, когда семья собралась за праздничным столом, явился королевский курьер с пакетом для принца Христиана Августа Ангальт-Цербстского. В пакете находилось и письмо на имя его жены Иоганны, отправленное из Санкт-Петербурга. Она распечатала письмо, и сидевшая рядом Фике успела скользнуть взглядом и запомнить всего лишь несколько слов: «августейшая императрица желает, чтобы Ваша Светлость в сопровождении принцессы, старшей Вашей дочери, прибыли возможно скорее и не теряя времени».

Этого было достаточно. Она поняла все. В доме началась суета. Завтрак остался на столе. Иоганна ушла в кабинет, отец последовал за ней. Через несколько часов мать вызвала к себе Фике.

– Знаете ли вы, что за письмо я получила из Петербурга? – почему-то сурово, словно поймав дочь на месте преступления, спросила Иоганна.

– Да, знаю, – смело ответила Фике, – императрица хочет, чтобы я стала женой наследника российского престола, великого князя Петра III.

– Откуда тебе известно это?! – изумленно и возмущенно воскликнула мать, взглянув на столик, на котором лежало только что полученное письмо.

– Я видела это во сне накануне, – сказала Фике.

– А как же брат мой Георг? – не сдержалась Иоганна.

Фике покраснела.

– Если великая императрица действительно предлагает это, то разве следует отказываться? Дядя Георг, если он любит меня, может желать мне только благополучия и счастья, – сказала она, тут же справившись со смущением и не допуская даже мысли о том, чтобы выйти замуж за майора прусской армии, когда есть хотя бы малейший шанс стать императрицей.

Иоганна удивленно и подозрительно посмотрела на дочь, словно увидела в ней что-то такое, чего не замечала никогда раньше. Но тут же вспомнила все свои старания, портреты, которые один за другим посылала в Петербург, и поняла, что наконец-то ее усилия принесли плоды, и причем здесь глупая Фике, нужно собирать вещи.

Через несколько дней Фике в сопровождении матери и напутствуемая наставлениями отца, советовавшего никогда не забывать единственно правильную лютеранскую веру, не играть в карты и всегда «стараться иметь небольшой запас денег, но без скупости, от которой так много страдает благопристойность», уже ехала в далекую, сказочную Россию.

Дядя Георг и любовь ушами были тут же забыты раз и навсегда. Нет, женщина любит не только ушами...

А вот то, что она ощущала, когда «скакала», оседлав подушки, в неведомую страну, она вспомнила став великой княгиней и вдруг обнаружив, что ее супруг, наследник трона, Петр Ульрих предпочитает исполнению своих прямых мужских обязанностей командование армией оловянных солдатиков. Нечто подобное тому, что она испытывала в порыве восторга от слов дяди Георга, уже не Фике, а Екатерина Алексеевна почувствовала, когда научилась ездить верхом, но не в дамском седле, боком, а по-мужски, широко раздвинув ноги. Ход лошади, это движение вверх-вниз бедер, сжимающих седло, как некогда подушку – и она скакала без усталости, пока опять не наступало сладостное расслабление.

Императрица Елизавета, узнав, что невестка целыми днями пропадает на манеже для верховой езды, устроенном в саду в Ораниенбауме, и сломя голову скачет по полям и лугам в мужском седле, рассердилась и запретила ей ездить по-мужски.

– Ты, матушка, мне за этими скачками наследника престола не родишь, отобьешь все бабье хозяйство. Ишь взяли моду, ноги-то раздвигать не там, где надобно по бабьим делам.

«Перед твоим ни к чему не способным племянником как ни раздвигай, все равно толку никакого не добьешься», – в мыслях ответила Екатерина и после очередной безуспешной ночи опять пошла на манеж. Все мужские седла из конюшни по приказанию императрицы Елизаветы убрали. А поездки в дамском седле навевали еще большую скуку.

Через несколько дней ее обер-берейтор, крепкий, умный старик, обруселый немец Циммерман вдруг подарил ей новое дамское седло английской работы. Усадив в него свою ученицу, в три недели освоившую правила верховой езды – обычно дамам с трудом удавалось сделать это за три месяца – Циммерман серьезным тоном объяснил великой княгине технические особенности конструкции усовершенствованного по его замыслу седла. Под несколько приподнятой передней дугой луки седла находился особый рычажок. Вдоль всей луки шел чуть отстоящий от нее ободок. Поворотом рычажка дамское седло тут же превращалось в мужское, а одно из стремян, двигаясь по ободку, позволяло перекинуть ногу на другую сторону.

– Это необходимо в случае возникновения затруднений при выполнении некоторых приемов вольтижировки на местности, особенно если нужно преодолевать рвы и овраги, – наставительно закончил Циммерман свои пояснения.

Он повернул рычажок, крепкой рукой взял великую княгиню чуть выше щиколотки, помог ей перебросить ногу и сесть в седле по-мужски, а потом так же деловито проделал всю операцию в обратном порядке.

Старик немец хорошо знал свое дело. Он объездил сотни редких лошадей. Под его руководством десятки дам высшего света научились верховой езде. Он прекрасно понимал, почему многие из них неудобному женскому предпочитали мужское седло, несомненно, более удобное и ко всему еще позволявшее хотя бы на время прогулки верхом забыть семейные неурядицы и неприятные мысли о загубленном женском счастье.

Теперь Екатерина ездила в своем новом дамском седле, стараясь показаться на глаза тем, кто присматривал за ней по распоряжению императрицы, а выехав на дорогу, в поле, усаживалась поудобнее, как этого требовала предусмотрительность – ведь рвы и овраги встречались на каждом шагу – и мчалась, подставляя ветру разгоряченное лицо, пока в изнеможении не падала на шею лошади, как некогда с подушек на кровати, вдохновленная восторженными речами дяди Георга, пряча в густой гриве любимого скакуна свои синие, как море, глаза.

В отличие от дяди Георга, о котором она забыла сразу и навсегда в день получения пакета с письмом, изменившим ее судьбу, своего старого обер-берейтора Екатерина вспомнила при первом же случае. После того как императрица Екатерина по воле обстоятельств взойшла на престол, чтобы предотвратить опасности, грозившие империи, одряхлевший к тому времени старик Циммерман обнаружил свою фамилию в списках награждаемых за то, что «старанием своим и трудами способствовали установлению порядка престолонаследия, тишины и спокойствия в государстве».

Ему жаловался чин полковника армии и соответствующая пенсия в двойном размере. И никто не мог взять в толк, каким же образом старый обер-берейтор поспособствовал успеху заговора и славному перевороту, вознесшему на трон будущую «матерь Отечества», Екатерину.

Это только любовь ушами забывается сразу и навсегда. Нет, любви ушами мало...

Салтыков, «красавец Серж», а потом изящно учтивый и предупредительный Понятовский научили ее совсем другой езде, когда она, несмотря на все свои успехи в вольтижировке, предпочла отказаться от роли наездницы. А после Орлова о какой же любви ушами речь...

Тут, как говаривала Перекусихина, «чтобы до печенок»... Но Гриша – а его она любила сначала безоглядно, – на самом деле был груб. Ему, по словам все той же мудрой в этом деле Перекусихиной, «хоть в дырку в заборе». Так тоже нехорошо, и чего-то не хватает...

Нет, лучше всех все-таки ее Сашенька Ланской... Уж он-то превзошел всем... Как жаль, что судьба отняла его... Ну да ей ли жаловаться на судьбу, когда-то чуть было не подсунувшую ей дядю Георга с его любовью ушами... Красный Кафтан – Дмитриев-Мамонов тоже хорош, если она сумеет воспитать его, «выпестовать»... А уж она-то теперь, с ее-то опытом, сумеет...

Воспоминания о мужчинах рассеяли тяжелые мысли. Осталось только одно темное облачко: отречение цесаревны Анны. Шешковский давно ищет, но не с его расторопностью и умом найти... Бакунин мог быть связан с отречением Анны через князя Шумского... Отречение Анны уже нарушено – Петр Ульрих, Петр III занял трон вопреки этому отречению... И не усидел на троне, правда, трона он лишился совсем по другой причине... И сойдя в могилу, оттуда, из могилы, по этому отречению может потащить за собой и ее, занявшую этот трон вопреки всяким отречениям, завещаниям и законам...

Да и что значат законы, бестолково отрицающие один другой... Есть люди, подчиняющиеся законам, и есть люди, подчиняющие законы. Тех, кто им подчиняется, законы смальвают в муку. На тех, кто подчиняет их, законы работают, как волы, впряженные в привод мельничного жернова... Отречение цесаревны Анны – очень опасная бумага, она страшна не силою закона, а желаниями тех, кто может ею, этой бумагой, воспользоваться и поэтому она обязательно найдет эту бумагу...

Екатерина устало перевела взгляд на стол. На столе лежал кинжал. Кровь Бакунина была тщательно смыта с лезвия в виде извивающейся змеи, змея обвивала перекладину креста, служившего перекрестием рукоятки, заканчивающейся широко раскрытой пастью змеи с двумя светящимися в темноте глазами-изумрудами.

III. В тверской глуши

1. Встреча на большой дороге

– Вы свободны, – воскликнул Ринальдо, размахивая пистолетами. – Но мое сердце пленено вами!

И красавица упала на его руки, лишившись чувств.

Из романа о Ринальдо-Ринальдини.

Второе важное событие, о котором необходимо знать пытливому читателю, произошло уже не в каком-либо из европейских городов и даже не в Санкт-Петербурге, так на эти города одновременно похожем и непохожем, а в далекой тверской глуши. Получив письмо, в котором сестра Катя писала о своем скором приезде, ее брат, молодой дворянин Александр Нелимов каждый день бродил по окрестным лесам, чтобы, несмотря на то, что лето только началось, добыть хотя бы какую-нибудь дичь.

В некогда богатом, но вконец разорившемся имении Нелимовых не нашлось бы даже чем накормить гостью из далекого Петербурга, привыкшую, наверное, к придворной кухне – Катя состояла фрейлиной при малом дворе великого князя Павла Петровича. Сам же Александр, мечтавший блистать в гвардейском полку или совершать боевые подвиги на южных или северных границах империи, не мог явиться даже на смотр дворянских недорослей в губернский город, а не то что в столицу: Нелимовы не имели средств на то, чтобы справиться будущему воину приличный мундир.

Но об этих невеселых обстоятельствах я расскажу попозже, потому что приключение, ожидающее моего героя, куда как интереснее вечной проблемы отсутствия денег. Проблемы, несомненно, важной, но не самой главной, когда ты молод, красив, полон сил и надежд на то, что завтра судьба одарит тебя таинственной улыбкой и поманит за собой, как будто обещая что-то, а уж что именно она обещает, ни ей, ни тем более тебе самому пока что и невдомек.

День клонился к вечеру, когда, обойдя свои заветные места, в которых он наконец-то обнаружил признаки крупного зверя, Александр прозаически размышлял о том, отправиться ли ему в соседнюю деревню и переночевать у одного из своих старых псарей, осевшем на хозяйство после того, как с барского двора исчезла последняя борзая – в этом случае его ожидал ужин с куском ветчины, припасенной для молодого барина – или вернуться в имение.

Там ему пришлось бы разделить скудный постный ужин с обозленным на весь мир отцом, некогда молодым и отчаянным дуэлянтом, не без основания считавшимся лучшим фехтовальщиком в армии, вхожим в самые высшие круги петербургской жизни, замешанным как в дела государственной важности, так и в дела донжуанские, а теперь с трудом передвигавшимся на костылях и проклинавшем всех и вся на этом свете.

Выбравшись из называвшегося Чертовым глухого лесного оврага на проезжую дорогу, Александр увидел картину, достойную пера авторов романов о славном итальянце Ринальдо-Ринальдини, мечте всех провинциальных барышень.

Посреди дороги стояла старая тяжелая, неуклюжая карета, которую так и хотелось назвать колымагой. Дверцы кареты были раскрыты, рядом лежал убитый кучер с залитым кровью лицом. Разбойник огромного роста стаскивал с кучера добротный синий кафтан. Позарившись на этот кафтан, он и стрелял кучеру в лицо, чтобы не попортить сукно. Два других разбойника, помоложе, тут же на обочине пытались «уговорить» молодую барышню. Но барышня оказалась не из впечатлительных и падающих в обморок созданий.

Она отчаянно сопротивлялась. Удержать ее разбойникам удавалось только вдвоем. Как только один из них намеревался приняться за свое мужское дело и отпускал ее ноги, она начала брыкаться с такой силой, что вырывалась из-под навалившегося на ее руки и голову другого негодяя, и им приходилось опять вдвоем прижимать ее к земле, но она, извиваясь освобождая то руку, то ноги и продолжала бешено отбиваться.

Сознание, что ее положение безнадежно и помощи ожидать неоткуда, только придавало ей силы. Таков уж был у нее характер, в чем читатель впоследствии убедится не один раз.

Из оружия у Александра при себе имелся только охотничий нож, длинный и острый как бритва. В мгновение ока он оказался рядом с разбойником, возившимся с кучером. Подняв голову и увидев Александра, сошедший с библейских страниц Галиаф, заросший черной бородой до самых глаз, выхватил из-за пояса один из двух пистолетов, но выстрелить не успел. Александр, в свои годы уже несколько раз ходивший на медведя и испытывавший себя в единоборстве с хозяином леса, уложил великана точным ударом ножа – разбойник упал поперек кучера, поливая кровью его завидный синий кафтан.

Краем глаза Александр увидел, что один из разбойников, оставив барышню, бросился к нему и, выхватив из ножен короткий палаш, нанес сбоку удар. Юноша без труда увернулся, разбойник замахнулся еще раз, Александр подставил под самую рукоятку палаша свой нож и кистью руки опытного фехтовальщика отвел удар и тут же наотмашь полоснул противника ножом по горлу.

Острое лезвие почти отделило голову нападавшего от шеи, достав до позвонков и разъединив их ненадежное соединение. Нападавший, выронив палаш, неуклюже взмахнул руками, в буквальном значении этих слов, закинул голову за плечи и рухнул навзничь, под ноги своему сотоварищу, который оставил напрасные попытки сладить с несговорчивой барышней и поторопился прийти на помощь поделнику.

Он уже взвел курок пистолета, чтобы почти в упор выстрелить в Александра. Бесстрашный юноша, увидев перед собой дуло пистолета, резко отпрянул в сторону, и в то же мгновение неугомонная барышня, успевшая подняться на ноги, толкнула обеими руками своего обидчика в спину. Пуля просвистела перед самым носом Александра, но в пороховом дыму он успел принять на свой нож и третьего рыцаря большой дороги.

Когда пороховой дым рассеялся, Александр, наконец, увидел спасенную им красавицу. Она действительно поражала красотой. Но это была не заморская принцесса и не таинственная незнакомка, а соседка Нелимовых по имени Оленька Зубкова. И то, что спасенная дева оказалась не таинственной незнакомкой, а известной всей округе Оленькой Зубковой, никак не снижало романтического пафоса этой сцены, а даже наоборот.

Дело в том, что Александра и Оленьку когда-то связывал полудетский, полуюношеский роман. Роман этот для Александра остался в прошлом и только теплился приятными воспоминаниями первых робких проб чувств и первых несмелых, но порой значительных открытий.

Что же касается Оленьки, то роман этот был для нее совсем даже не в прошлом, а в настоящем и, более того – в опирающемся на несокрушимые надежды будущем. Их первая нежная любовь разбилась два года назад, когда стало известно, что княгиня Тверская, а ее власть над округой считалась непререкаемой и беспредельной, предназначила Александру в жены свою наследницу, юную, милую, ангелоподобную племянницу Поленьку. И Александр, конечно же, не отказался ни от в самом деле милой Поленьки, ни от несметных сокровищ и бескрайних владений, которые Старуха – так все звали суровую и грозную княгиню Тверскую – давала в приданое за своей любимой, почти обожествляемой племянницей.

2. Что было у Оленьки

– Ах, она ведь бесприданница!

– Да, бесприданница, но у нее есть чувство.
Пьеса неизвестного автора XVIII века.

Что могла противопоставить неожиданной сопернице Оленька? Ее семейство хоть и не дошло до такой нищеты, как Нелимовы, но не могло похвастаться ни богатством, ни покровителями. Мало того, отец ее числился вечным врагом отца Александра, с ним он когда-то служил и майор Нелимов, хотя и не убил, но опозорил его на дуэли, так что пришлось покинуть полк и выйти в отставку. Мать Оленьки пользовалась дурной репутацией у всех порядочных матрон округа и у самой Старухи.

Из рожденных ею в браке детей – троих сыновей и дочери – муж признавал своим только одного сына – Платона Зубкова, известного впоследствии многим. Его невозможно обойти вниманием и в моем сочинении, хотя и хотелось бы это сделать из свойственного мне нежелания описывать героев несимпатичных, так как все время, отпущенное для писания, и место в моем сочинении лучше бы посвятить описанию тех, кто мил моему сердцу или хотя бы вызывает любопытство, вместо того, чтобы вызывать неприязнь.

Но что делать, следуя законам, предписанным нам, сочинителям, свыше, приходится населять свое сочинение героями и хорошими и плохими. И даже очень плохими, и такими плохими, что хуже некуда. И мало того, герои, которые считаются плохими, нужны именно для того, чтобы герои, которых мы называем хорошими, выглядели в сравнении с ними еще лучшими, а главное, не такими скучными, каковы они на самом деле. Мать Оленьки прожила бурную жизнь; если описать все ее приключения, то их хватит на несколько романов – и я хотя бы вкратце сделаю это по ходу своего сочинения, но как-нибудь попозже.

Одним словом, чуть ли не бесприданница, Оленька Зубкова ничего не могла противопоставить княжне Поленьке Тверской, которую природа не обделила приятной внешностью и милым нравом, властная тетушка – Старуха – огромным приданым, а судьба намеревалась одарить Сашенькой Нелимовым.

Но кое-что все-таки имелось и у Оленьки. Во-первых, мать, не имея возможности оставить любимой дочери деньги и поместья, наделила ее своим характером. Оленька отличалась необычайной энергией, предприимчивостью, смелостью и решительностью, обладала жизненной волей, помогающей преодолевать любые преграды, была хитра, изворотлива, строптива, коварна и жаждала побед, богатства и любви.

Смыслом жизни она считала любовь, она поклонялась богине любви, и эта богиня, единственная из греческих богинь, пережившая, благодаря тайным молитвам многих женщин, забвение, одарила Оленьку за верность ее жертвенному алтарю жгучим темпераментом и поистине вулканической страстью, прикрыв все это обманчиво-спокойным умением скрывать свои чувства и намерения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.